



ЛУЧШЕЕ ВСЕГДА С НАМИ

ПОЛИНА  
**ДАШКОВА**

ЧУВСТВО РЕАЛЬНОСТИ



Лучшее всегда с нами

Полина Дашкова

**Чувство реальности**

«АСТ»

2002

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Дашкова П. В.**

Чувство реальности / П. В. Дашкова — «АСТ», 2002 — (Лучшее  
всегда с нами)

В Москве совершено двойное убийство. Убитые – гражданин США и молодая красивая женщина. Ведется следствие. Вероятность того, что это заказное убийство, – очевидна. Но каковы мотивы?..

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Дашкова П. В., 2002  
© АСТ, 2002

## Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	11
Глава третья	16
Глава четвертая	23
Глава пятая	28
Глава шестая	35
Глава седьмая	39
Глава восьмая	44
Глава девятая	51
Глава десятая	57
Глава одиннадцатая	64
Конец ознакомительного фрагмента.	68

# Полина Дашкова

## Чувство реальности

*Позиция автора не обязательно совпадает с позициями вымышленных героев романа.*

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

© Дашкова П.В.

© ООО «Издательство АСТ», 2015

## Глава первая

– Посиди здесь и подумай о своем поведении.

Дверь закрылась, снаружи повернулся ключ. Маша Григорьева осталась одна в просторной комнате, где не было ничего, кроме фанерных щитов наглядной агитации, прислоненных к стене, пыльных рулонов бумаги, сваленных в угол, голой ослепительной лампочки под потолком, сизого ночного окна с ключьями ваты между рамами и чугунной батареи.

– Вот и отлично! – прошептала Маша, обращаясь к запертой двери, за которой слышны были тяжелые шаги и скрип половиц. – Я простужусь, у меня будет воспаление легких, и тебе, Франкенштейн, придется отвечать.

Шаги затихли. Маша потрогала облупленное ребро батареи. Оно оказалось чуть теплым.

Пять минут назад Франкенштейн выдернула ее из-под одеяла, отняла фонарик, книжку и даже не дала надеть тапочки, потащила за руку вон из спальни по пустому полутемному коридору, потом по лестнице, на третий этаж. Маша ужасно удивилась. Такие воспитательные меры были для нее экзотикой. Она решила не возражать и не задавать вопросов, ей стало интересно, куда ее тащат и что произойдет дальше.

За три дня, проведенные в санаторно-лесной школе, она узнала несколько непреложных правил. Самый важный человек в этом заведении – воспитательница старших классов Раиса Федоровна Штейн, по прозвищу Франкенштейн. Есть вещи, которые ее бесят: декоративная косметика, жвачка и чтение после отбоя под одеялом при свете фонарика.

Вчера утром, обыскивая тумбочки в спальне девочек, Франкенштейн обнаружила у Маши помаду, правда гигиеническую, но она не вникала в детали. В специальной тетрадке против фамилии «Григорьева» появилась жирная красная точка. После обеда соседка по столу угостила Машу мятной жвачкой. Франкенштейн шла навстречу как раз в тот момент, когда Маша запихивала в рот белую гибкую пластинку. Тут же появилась вторая точка, жирнее первой.

– Ну все, Григорьева, – предупредила соседка, – еще одно замечание, и ты труп.

– Она что, правда детей жрет? – небрежно уточнила Маша.

– Не всех. Только девочек старших классов, и то после третьего замечания.

В десять вечера Франкенштейн погасила свет в палате. В десять сорок зашла проверить, все ли спят. Маша дождалась одиннадцати, зажгла под одеялом свой фонарик, чтобы почитать. Она читала Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» и так увлеклась, что не услышала тяжелых шагов.

Вот, оказывается, как обращаются с детьми в этом оздоровительном заведении, если, конечно, можно назвать ребенком совершенно самостоятельную девочку тринадцати лет, умницу, отличницу, которая свободно говорит по-английски, читает в подлиннике Уайльда, Моэма и Голсуорси. Никто никогда не хватал ее за руку и не волок, как нагадившую собачонку. Никто никогда не запирает ее ночью в холодной комнате, босую, в ночной рубашке.

Неделю назад мама и отчим Маши Григорьевой попали в аварию, вроде бы не слишком серьезную, тем не менее оба лежали в больнице, к ним не пускали из-за карантина. Бабушка Зина решила быстренько сбегать Машу в эту паршивую лесную школу.

С первого же дня Маша стала обдумывать план побега. Ей хотелось увидеть маму. Она не знала, где именно мама лежит, но надеялась выяснить это, обзвонив из дома по телефонному справочнику все московские больницы.

Она понимала, что отсюда, из деревни Язвищи, добраться до Москвы без посторонней помощи довольно сложно. Не в том дело, что далеко (двадцать минут на автобусе, тридцать минут на электричке). Просто у Маши не было денег. Ни копейки. В лесной школе не разрешалось детям иметь наличные деньги, и верхнюю одежду держали в запертом помещении, выда-

вали только на время прогулок. А на прогулке всегда рядом Франкенштейн. Попробуй сбеги. Это закрытое заведение, черт бы его подрал, детское оздоровительное учреждение санаторного типа. Бабушка Зина страшно гордилась, что устроила сюда Машу, совершенно здорового подростка, по большому благу. И если Маша сбежит, бабушка ей этого никогда не простит.

Холод начал потихоньку поедать босые ноги. Такому лютому холоду хватит часа, чтобы сожрать человека целиком и обглодать косточки. Когда откроют дверь, вместо Маши Григорьевой найдут сосульку, прозрачную и неподвижную. Вот тогда они все забегают, засуетятся, им станет не просто стыдно, а мучительно стыдно. Они с позором уволят Франкенштейн, лишат ее диплома педагога и разжалуют в уборщицы. Всю оставшуюся жизнь Раисе Федоровне придется ронять слезы в ведро с грязной водой, повторяя: «Григорьева, прости меня!» Ответом ей будет мертвая тишина.

Маша тяжело вздохнула, обошла комнату, подергала дверь, припала к замочной скважине и поняла, что ключ торчит снаружи. В коридоре было тихо. Школа спала. Франкенштейн, вероятно, полетела на метле на шабаш нечистой силы и теперь водит хороводы вокруг костра со своими подружками ведьмами. Над костром висит огромный кипящий котел, в нем варится ароматный супчик из злостных нарушителей дисциплины. По сравнению с теми, чьи расчлененные тела кипят в этом котле, Маша Григорьева устроилась вполне сносно.

Она развернула один из пыльных плакатов, постелила на занозистый рыжий пол у батареи. На плакате толстощекий мальчик увлеченно поедает бутерброд с колбасой. Красная крупная надпись под мальчиком гласила: «Школьные завтраки – дело серьезное, вам поскорее помогут они вырасти умными, сильными, взрослыми, так как полезны и очень вкусны!»

Старая бумага противно шуршала, обдавая пылью. Сквозь оконные щели сильно дуло. Маша обнаружила, что оба шпингалета, верхний и нижний, сломаны, закрыть окно плотней невозможно. Она уселась на корточки на плакат, обхватив руками плечи и прижавшись спиной к батарее. Жестко, неудобно, но все-таки немного теплей.

Лесная школа занимала старинное трехэтажное здание, до восемнадцатого года бывшее усадьбой купцов Дементьевых, владельцев деревни Язвищи. Купцы строили себе дом два века назад добротно и красиво, в стиле раннего классицизма. Дом стоял на холме, окруженный яблоневым садом. Дальше простиралась поля, отороченные у горизонта тонким черным кружевом леса. В тишине ясно слышался гудок электрички. Сыпал снег, крупный, липкий, первый снег 1985 года.

Постепенно снегопад превратился в настоящую вьюгу. Ветер выл все громче. Под его порывами хлипкая оконная рама трещала, тихо и грустно позванивало стекло. Маша взглянула на маленькие наручные часы, папин подарок. Она никогда не расставалась с ними, не снимала даже в ванной. Они были водонепроницаемые.

Десять минут первого. Сейчас должна прийти Франкенштейн. Она же не может оставить здесь ребенка до утра. Это все-таки санаторий, а не колония для малолетних преступников.

Глаза слипались. Съежившись у батареи, Маша натянула рубашку на колени, почти согрелась и даже задремала. Сквозь тонкую зябкую дрему она думала о том, что ее родной отец ни за что не сел бы за руль пьяным, как это сделал отчим, который разбил уже третью по счету машину. Он привык, что ему все дозволено. Стоит ему высунуть свою популярную физиономию из окошка, и гаишники, вместо того чтобы штрафовать, отдают честь. Ни у кого в Машинном классе нет дома видеомagnитофона, никто не отоваривается в «Березке» на Большой Грузинской. Маша только и слышит: «Вчера видели твоего папу по телевизору... В последнем «Огоньке» твой папа на обложке». Она уже устала повторять, что никакой он не папа, а отчим.

Ге родного отца зовут Григорьев Андрей Евгеньевич. Они с мамой развелись, папа сейчас где-то за границей, по работе, но это ничего не значит. Маша никогда не станет дочерью нового маминого мужа, народного артиста, лауреата всяческих премий, и отчество свое ни за что не изменит, и фамилию его знаменитую ни за что не согласится взять. Это только для телеэкрана

и журнальных обложек он такой классный. А на самом деле он надутый индюк, самоуверенный болван и пьяница. То, что он рискует собственной жизнью, – его личные трудности. Но жизнью Машиной мамы он не имеет права рисковать, придурок несчастный.

То ли ветер выл слишком громко, то ли Маша правда уснула, но скрежета ключа в замочной скважине она не услышала. Дверь открылась с легким скрипом, и тут же закрылась. Ключ повернулся в замке, уже изнутри. Маша проснулась оттого, что какая-то липкая холодная гадость прикоснулась к ее лицу. У рта что-то металлически звякнуло. Она распахнула глаза, хотела крикнуть, но не сумела. Рот ее был заклеен широким куском лейкопластыря. Напротив нее сидел на корточках худой ободранный мужчина неопределенного возраста. Он смотрел на Машу и улыбался. Зубы у него были редкие, кривые и какие-то рыжие, череп обрит наголо. Даже глаза у него были лысые, ни бровей, ни ресниц. Под бурой телогрейкой виднелась мятая фланелевая ковбойка в красную клеточку.

Он мог показаться сумасшедшим, если бы не внимательный спокойный взгляд, взгляд разумного существа, возможно, даже более разумного, чем Маша. Он смотрел на нее с радостным любопытством исследователя, как орнитолог на двухголового воробья.

Плотная трикотажная ночнушка была натянута на колени. Кисти рук скрещены и спрятаны в длинных рукавах. Получалось, что Маша самое себя связала, и не могла двинуться. При первой же попытке высвободить руки лысый легонько уперся ножницами в ее шею и отрицательно помотал головой. Ножницы медленно поползли от шеи вдоль щеки к глазам, длинные блестящие лезвия раскрылись и тут же закрылись, выразительно щелкнув. Он продолжал улыбаться. У него воняло изо рта. Не перегаром, он не был пьяным. Он был даже слишком трезвым. От него исходил ни с чем не сравнимый смрад. Наверное, именно так воняли зомби из «Ночи живых мертвецов». Маша однажды сдуру посмотрела этот ужастик по видео, от начала до конца, и сколько потом ни убеждала себя, что это всего лишь фильм, не могла спать целую неделю.

На секунду ей пришла в голову утешительная мысль, что лысый урод в ватнике ей снится. Просто в мозгах засело, как заноза, впечатление от американского ужастика. Она вообще чрезвычайно впечатлительная, и впредь с этим надо считаться, выбирая для себя фильмы и книги.

Но лысый в ватнике был слишком отчетлив для сновидения. Он вонял мертвечиной, адом, кошмаром. Ее затошнило. Она подумала, что, если сейчас вырвет, она захлебнется насмерть, потому что рот у нее заклеен. Левая рука лысого нырнула под подол рубашки. Прикосновение влажных ледяных пальцев к бедру подействовало на Машу сильнее, чем ножницы. Она успела заметить, что дверь плотно закрыта и ключ торчит изнутри. Значит, если Франкенштейн все-таки явится, какое-то время уйдет на то, чтобы взломать дверь.

– Тихо, тихо, – бормотал лысый, – все будет хорошо, тебе понравится. Я быстренько, не бойся...

Он сопел все громче, и с каждым его выдохом комната наполнялась очередной волной нестерпимой вони. Резким внезапным движением он задрал Машину рубашку, продолжая внимательно смотреть ей в глаза. Это дало ей возможность вскочить на ноги, не запутавшись в подоле и освободить руки из рукавов. От неожиданности он выронил ножницы. Липкие пальцы проворно впились в щиколотку. Маша развернулась, ухватила за подоконник и, почувствовав опору, оттолкнулась ногами, изо всех сил дернулась вверх, словно пыталась выбраться из вонючей болотной трясины.

От порыва ветра мелодично звякнуло оконное стекло. В ноздри ударил свежий озоновый запах снега. Это было хорошей подсказкой. Она не видела, что происходило у нее за спиной, только слышала сухой грохот старых плакатов, тихую одышливую брань и нестерпимую вонь. Через секунду она взлетела на подоконник. Окно распахнулось легко, словно кто-то снаружи услужливо потянул раму на себя.

Небо казалось светлым. Ветви низкорослых яблонь, еще днем голые и черные, к ночи покрылись толстым пушистым снегом и приветливо кивали Маше. Вьюга ластилась к ней, дышала в лицо мокрой свежестью, и оставалось только переступить с подоконника на мягкий белоснежный карниз.

– Стой, стой, куда?! – удивленно и обиженно прохрипел лысый.

Очередная волна вонии толкнула ее вперед и вниз. Если бы она успела содрать пластырь со рта, то, вероятно, закричала бы во всю глотку, падая с высоты третьего этажа. Вьюга ослепила ее, перед глазами неслась сплошная непроглядная белизна, ветер грохотал в голове. Рубашка раздулась, как парашют, и падение получилось медленным, плавным. Она не чувствовала ни холода, ни страха.

Примерно за полтора метра до земли она застряла в ветвях старой раскидистой яблони. Взрыв боли в правой кисти заставил ее опомниться. В мозгу включился и спокойно заработал какой-то новый, четкий и надежный механизм. Маша поняла, что сидит, скрючившись, на толстом яблонево́м суку. Ее не изнасиловал этот лысый, только пытался. Она выпрыгнула из окна третьего этажа, но насмерть не разбилась, и уже не разобьется. Самое страшное позади. Кожа на ногах и на спине ободрана, к свежим ссадинам прилипла мокрая рубашка, рот все еще заклеен пластырем, холод лютый, но это ерунда. Главное – рука. С правой рукой случилось нечто очень плохое. Боль нарастала, от нее перехватило дыхание, и следовало переждать, когда отхлынет эта первая, оглушительная волна, здоровой левой рукой отодрать, наконец, пластырь и громко позвать на помощь.

Треск потревоженных сучьев затих. Правая рука превратилась в гигантский пульсирующий сгусток боли. Маша заставила себя медленно сосчитать до десяти, осторожно разжала заочевевшую, но невредимую левую кисть, убедилась, что сидит достаточно надежно, стряхнула с лица снег, нащупала пластырь. Он размок и отошел совсем легко. Она глубоко вдохнула, чтобы крикнуть, но от холода все внутри у нее так сжалось, что вместо крика получился сдвленный еле слышный стон.

Маша подняла голову и сквозь рябую пелену метели разглядела в ярком квадрате окна на третьем этаже силуэт лысого ублюдка. Он перевесился по пояс через подоконник. Он смотрел вниз и искал Машу. Сердце у нее дико заколотилось, ей показалось, что сейчас он увидит ее, прыгнет вниз, вслед за ней, и все продолжится. Маша не стала звать на помощь. Наоборот, она зажала рот здоровой левой рукой, чтобы не крикнуть.

Спасительный механизм опять включился в мозгу, заглушая страх, притупляя боль и все прочие невыносимые чувства. Механизм работал в ритме дикого стука сердца и отбивал только одно слово: беги!

Ей удалось почти безболезненно соскользнуть с дерева. Она ступила на снег босиком и удивилась, что ногам совсем не холодно. В последний раз взглянув вверх, она увидела пустой светящийся квадрат окна на третьем этаже.

Первые несколько шагов дались ей легко, без всяких усилий. Ей казалось, что она бежит, почти летит, не касаясь белой призрачной земли. Ей стало тепло и ужасно захотелось спать. Если можно летать во сне, то почему нельзя спать на лету? Она бы заснула, но мешал тяжелый противный топот поблизости и грубый страшный голос:

– Григорьева, совсем очумела?! Ты что тут устраиваешь, а? Так, ну-ка открой глаза, сейчас же ответь, ты слышишь меня?

Нет, наверное она все-таки спала, летела сквозь нежную теплую метель, и спала. Ей снилась Франкенштейн с башенкой на макушке. Соседка по палате говорила, что Франкенштейн запикивает в свой пучок скрученные капроновые чулки, чтобы прическа казалась объемней, и закрепляет шпильками с пластмассовыми блестящими бусинами. Эти бусины сверкали, как живые глаза в темноте. Из прически выбилась длинная тонкая прядь, ее шевелил ветер. Маше

показалось, что на голове у воспитательницы сидит небольшая сумасшедшая крыса, злобно смотрит и машет хвостом. Конечно, такое могло быть только во сне.

Между тем Франкенштейн больно и грубо теребила Машу, волокла ее куда-то, мешала спать. Это было ужасно, поскольку во сне раненая рука успокаивалась, становилось тепло, уютно и совсем хорошо. Но Франкенштейн была неумолима.

– Не спи, не спи, шевелись, открой глаза, – повторяла она, трясла Машу, тревожила ее руку и добилась своего. Рука взорвалась новой, нестерпимой болью. Свет полоснул по глазам. В диком вихре закружились какие-то фигуры, загудели голоса. Маша то проваливалась в метельную мглу, то выныривала на поверхность и, хватая ртом сухой шершавый воздух, шептала:

– Мама, мамочка!

До приезда «скорой» дежурный врач вколола Маше несколько кубиков глюкозы и анальгина, зафиксировала сломанную руку, обработала многочисленные ссадины.

– Как же это могло произойти? – спросила она, старательно закручивая пробку резиновой грелки с горячей водой и избегая смотреть в глаза Раисе Федоровне Штейн.

– Очень сложная девочка. Нарушала дисциплину. Мне пришлось ее наказать, я отвела ее на третий этаж, закрыла в комнате, отошла минут на двадцать, а она, видите, что натворила? Взяла и выпрыгнула из окна. Надо сообщить родителям, пусть покажут ее психиатру, – Раиса Федоровна потрогала рыжую башню на голове, заправила длинную выбившуюся прядь, похожую на крысиный хвост, облизнула сухие губы и добавила, – я уже пыталась им дозвониться, там никто не подходит.

Врач застыла с грелкой в руках и уставилась на Франкенштейн так, словно увидела ее впервые. В лесной школе все, и врачи, и педагоги, знали, что у новенькой девочки Маши Григорьевой мать и отчим погибли в автокатастрофе. От девочки это пока скрывали. Из родственников у нее осталась бабушка с больным сердцем, и больше никого. Существовал родной отец, но где он и как с ним связаться – неизвестно.

## Глава вторая

Весной 2000 года жара обрушилась на Москву внезапно, в конце апреля, и к майским праздникам город выглядел немного пьяным, провинциальным. В центре и на окраинах во дворах орала вразнобой дешевая эстрада. Обитатели панельных бараков высыпали на солнце во всем своем домашнем великолепии, в байковых тапках, в трикотажных шароварах и майках, нечесанные, опухшие, они расположились на сломанных скамейках, на бортиках песочниц или прямо на свежей майской траве. Они пили теплое, с привкусом пластика, пиво, чистили влажную серебристую воблу, хрустели чипсами, жмурились на солнце, незлобно матерились, травили анекдоты.

Публика посолондней загрузилась в автомобили и удалилась за город, возиться в огородах, перетряхивать и чистить нутро осиротевших за зиму дачных домиков.

Самые солидные, те, кто на улицах почти не появляется и украшает город благородным сиянием выхоленных иномарок, наполняет мягкой музыкой мобильных залы ресторанов, бутиков и косметических салонов, предпочли провести праздничные дни на теплых зарубежных курортах.

Утром тридцатого апреля Москва пыталась выплюнуть остатки дачников, которые не решились ехать накануне из-за вечерних пробок. Однако таких осторожных оказалось слишком много, и на основных магистралях, ведущих к кольцевой дороге, теснились огромные стада машин.

Светлана Анатольевна Лисова, одинокая полная дама сорока восьми лет, не принадлежала ни к богатым, ни к бедным, ни к средним. Она не имела ни машины, ни дачи, хотя честно трудилась с юности, и даже сейчас, в праздник, ехала не в гости, не в кино, а на работу. Из окна троллейбуса Светлана Анатольевна смотрела на легковушки на встречной полосе. Троллейбус застрял перед въездом на мост, отделявший Ленинградский проспект от Тверской-Ямской улицы. Пробка была двусторонняя, сплошная, безнадежная. Водитель открыл передние двери, и салон почти опустел. Светлана Анатольевна не собиралась выходить и нырять в метро. Ей нравилось сидеть на переднем сиденье, спиной к водительской кабине, и с высоты троллейбусного роста разглядывать легковые машины.

Московская пробка уравнивала всех. Шикарные иномарки с затемненными стеклами и озонированными салонами, «Москвичи» и «жигулята» с грузовыми решетками на крышах, набитые детьми, собаками, стариками, скромным семейным барахлом, все вынуждены были стоять, ждать и нервничать. К концу праздников обещали дожди, резкое похолодание, и каждый час этого теплого ясного утра был драгоценен.

Солнце ударило в стекло, Светлана Анатольевна поморщилась, надела темные очки, отвернулась от окна, уткнулась в книжку, которая лежала поверх ее объемной хозяйственной сумки. Это был роман Шарлотты Бронте «Джен Эйр», любимое ее литературное произведение, впервые прочитанное в четырнадцать лет и к нынешним сорока восьми выученное наизусть. Разными изданиями романа была занята целая полка в ее книжном шкафу. Сегодня она прихватила в дорогу новую дешевенькую книжицу в мягкой пестрой обложке. Прихватила машинально, не собираясь читать в транспорте, скорее как талисман, но из-за пробки все же раскрыла наугад и очутилась в Англии первой половины девятнадцатого века, в имении Торнфильд, в трехэтажном доме, принадлежащем сумрачному аристократу, у которого сумасшедшая жена, пошлая, вероломная, но уже покойная любовница, пышные сросшиеся брови, выразительные раздувающиеся ноздри.

На мосту между Ленинградкой и Тверской-Ямской, в гуще автомобильной пробки, никто не догадывался, что полная крупная дама на самом деле хрупкая маленькая Джен, гордая

сирота, образованная, благородная, бескорыстная, со скромным настоящим, но с роскошным будущим.

Троллейбус мягко тронулся, миновал мост и поплыл по Тверской-Ямской к центру. У Пушкинской площади Светлана Анатольевна с сожалением вынырнула из родной романтической стихии, аккуратно заложила страницу пробитым талончиком, спрятала книжку и вышла из троллейбуса.

Через пять минут она оказалась в переулке, расположенном между Тверским бульваром и Патриаршими прудами, прошла половину квартала, остановилась у семиэтажного дома, выстроенного в самом начале двадцатого века в стиле модерн.

От старого здания сохранился только фасад, отреставрированный, вылизанный, сверкающий широкими стеклами эркеров, украшенный белой лепниной по нежно-бирюзовому фону и сине-зеленой керамической мозаикой. Внутри все отстроили заново, вернее, вернули дом к его изначальному, докоммунальному состоянию, так, чтобы и духа не осталось от семидесяти лет с фанерными перегородками, тараканами, корытами на стенах, с общими закопченными кухнями и одним сортиром на десять семей.

Теперь, как в старые времена, каждая квартира занимала не менее половины этажа, парадный подъезд был выложен мрамором, увешан картинами, зеркалами. На каждой лестничной площадке, у круглых окон, стояли курительные столики, кресла и вазы с живыми цветами. Черным ходом пользовалась только домашняя прислуга.

Светлана Анатольевна называла себя «помощницей по хозяйству», не общалась ни с вахтершей, ни с говорливыми коллегами из соседних квартир и всегда входила только через парадный подъезд. Мягкие подошвы ее спортивных туфель тяжело протопали по мрамору и остановились у лифта. Вахтерша дремала в своей стеклянной будке и на приветствие не ответила. Зеркальный лифт вознес Светлану Анатольевну на седьмой этаж. Там были самые скромные квартиры, трехкомнатные, которые красиво именовались мансардами, или студиями, на западный манер.

Звякнули ключи. Распахнулась стальная, обитая темным деревом дверь. Пустой светлый холл встретил ее гулкой тишиной. Светлана Анатольевна сняла туфли, надела тапочки, задержалась перед зеркалом, оглядела свою большую полную фигуру, одернула юбку, провела ладонью по коротким бесцветным волосам и на несколько секунд замерла, пристально глядя в глаза своему отражению и прислушиваясь, то ли к неуловимым звукам просторной квартиры, то ли к самой себе.

Из холла небольшой коридор вел в спальню. Там стояла крошечная тьма. Вишневые бархатные шторы плотно закрывали полукруглое окно. Светлана Анатольевна нашарила выключатель. Вспыхнул свет. На кровати лежали двое, женщина и мужчина, хозяйка квартиры и ее гость. Оба молодые и красивые. Оба совершенно голые.

Каштановые спутанные волосы хозяйки разметались по синему шелку наволочки. Она лежала на животе, уткнувшись лицом в подушку. Белая тонкая рука свесилась и почти касалась холеными ноготками пушистого светлого ковра. Гость лежал на спине, разметавшись. Голова его провалилась между подушками, видны были только крупный прямой нос и квадратный, подернутый модной трехдневной щетиной подбородок.

Кровавые пятна терялись в шелковых бликах темно-синего белья. Терялись и пулевые отверстия. Хозяйке стреляли в каштановый затылок, гостю в грудь, поросшую густыми черными волосами. Вообще, в спальне царил порядок, и можно было подумать, что эти двое просто спят, спокойно и крепко. Легкое одеяло соскользнуло на пол, а они не заметили.

Светлана Анатольевна тихо охнула, зажала ладонью рот, метнулась к кровати, но тут же отпрыгнула от нее и, теряя по дороге шлепанцы, тяжело топая, помчалась назад, в прихожую, чтобы оттуда позвонить, куда следует.

\* \* \*

Над Нью-Йорком с утра висел плотный теплый туман, моросил мелкий дождь. Небоскребы почти исчезли, как бутафорская мебель за сценой, прикрытая серой марлей. На смотровой площадке, на набережной у Бруклинского моста, торговали самодельными сувенирами. Изредка проплывали сквозь туман одинокие отрешенные бегуны в наушниках. Из-за сырости никто не гулял по набережной, не интересовался сувенирами. Торговцы, пожилые хиппи, ряженные индейцы, богемные дамочки в облезлых горжетках, оставив свои лотки, сиротливо сбились в стайку, пили кофе из пластиковых стаканчиков и без всякой надежды косились на двух стариков, которые прохаживались по площадке туда-сюда почти час.

Один, невысокий, плотный, в истертых джинсах и рыхлом грязно-белом свитере, постоянно курил и покашливал. Второй, подтянутый, моложавый, отворачивался от дыма, и голос его звучал довольно громко. Ему было важно, чтобы собеседник не пропустил ни слова и правильно его понял.

– Я хочу, чтобы ты меня правильно понял, Эндрю, – повторял он через каждые несколько фраз, – мной движет не только профессиональный интерес, но и простая человеческая симпатия.

Старик, которого звали вовсе не Эндрю, а Андрей Евгеньевич Григорьев, молча кивнул и проводил взглядом гигантский воздушный шар с рекламой пепси-колы.

– Мы с тобой знакомы двадцать лет. – Американец широко улыбнулся и помахал рукой, разгоняя вредный дым. – Как говорят у вас в России, мы с тобой пуд соли съели, пуд – это около тридцати фунтов. Верно?

– Нет, Билли, – покачал головой Григорьев, – мы с тобой съели соли грамм четыреста, то есть не более фунта, за все двадцать лет. Мы почти не обедали и не ужинали вместе. Вот кофе выпили много, литров сто. Правда, это был довольно паршивый кофе, без кофеина и с ксилитом вместо сахара.

– Ты намекаешь, что я мог бы пригласить тебя в ресторан? – Билл Макмерфи расхохотался и похлопал Григорьева по плечу. – В следующий раз я учту твои пожелания, Эндрю.

– Ни на что я не намекаю, – поморщился Григорьев, – я вот уже второй час мокну здесь с тобой и жду, когда ты, наконец, объяснишь, что конкретно тебе от меня нужно. Такая сырость, что мы оба скоро покроемся плесенью.

В ответ прозвучал всплеск бодрого хохота, похожий на закадровый фон комедийного телесериала. На этот раз смеялся не Макмерфи, а компания торговцев. Один из них, упитанный мужчина с длинными волосами, стянутыми в крысиный хвост на затылке, изображал кокетливое существо противоположного пола, то ли женщину, то ли гомосексуалиста, жеманно поводил плечами, вертел жирным туловищем, вытягивал губы, взбивал двумя пальцами прядь на виске, ворковал что-то по-испански, фальшиво-высоким голосом. Остальные покатывались со смеху.

Григорьев и Макмерфи несколько секунд молча наблюдали представление.

– Слушай, Эндрю, ты ведь давно меня понял, – произнес американец, и лицо его стало серьезным, – просто ты пока не готов ответить. Но я не тороплю. Тебе, конечно, надо подумать. Ты хорошо подумай, Эндрю, причем на этот раз не о своей старой глупой заднице, а о своей дочери Маше. Пойми, наконец, речь вообще не о тебе, а о ней, о ее карьере, о ее будущем. Ей двадцать восемь лет, она взрослый самостоятельный человек, доктор психологии, офицер ЦРУ, ей надо расти и совершенствоваться, она должна реализовать в полной мере свой интеллектуальный и профессиональный потенциал.

Воздушный шар лениво подплыл к Бруклинскому мосту и остановился.

– Угодил в железную паутину, как муха, – проворчал Григорьев, кивнув в сторону шара, и затоптал очередной окурочек.

– Прости? – Макмерфи, наконец, повернулся к нему лицом, не опасаясь вдохнуть смертоносного табачного дыма.

Макмерфи был фанатиком свежего воздуха. Ему не следовало жить в Нью-Йорке и работать в русском секторе ЦРУ. Лучше бы он разводил породистых скакунов на каком-нибудь тихом ранчо в штате Техас.

– Да, я, разумеется, понял тебя, Билли, – кивнул Григорьев, – мне не надо двадцати минут на размышление. Я отвечаю сразу: нет.

– И ничего не хочешь добавить к этому? – уточнил Макмерфи.

Григорьев молча помотал головой, достал очередную сигарету и принялся разминать ее. Эта привычка осталась у него с юности, когда он курил «Яву», сушенную на батарее.

– Ну, в таком случае нам придется обойтись без твоего согласия, – грустно улыбнулся американец.

Андрей Евгеньевич вытряхнул почти весь табак, бросил сигарету под ноги, достал другую.

– Не обойдетесь, – произнес он, прикуривая.

– Да, конечно, твоя поддержка очень важна для нас, – Макмерфи заговорил быстро, нервно, – но независимо от результата нашего разговора операция состоится. Мы оба это отлично понимаем. Хотя бы объясни мне, почему ты против? Чего ты боишься? Это ведь не просто тупое упрямство, верно?

– Я не хочу, чтобы моя Машка, – старик тяжело, хрипло закашлялся, покраснел, на лбу вздулись лиловые толстые жилы, – я не хочу, чтобы мисс Григ летела в Россию и занималась там черт знает чем. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы она осталась здесь. Заставить ее вы не можете. У меня случится очередной инфаркт, и она никуда не полетит. Вам придется послать кого-то другого. Кстати, ты так и не ответил, почему вам нужна именно моя дочь?

– А почему у тебя должен случиться очередной инфаркт? – весело поинтересовался Макмерфи и тут же добавил с серьезной миной: – Впрочем, с человеком, который так много курит, может случиться что угодно.

Григорьев засмеялся. Смех у него был мягкий, приятный.

– Билли, если ты меня убьешь, тебя потом замучит совесть.

– А? Это ничего. Главное, чтобы не подагра. – Макмерфи сдержанно улыбнулся. – Эндрю, я тебя прошу, перестань, у нас серьезный разговор.

– Конечно, серьезней некуда. Если ты меня все-таки убережешь, несмотря на совесть и подагру, Машка тем более никуда не уедет, ты же ее знаешь, – он похлопал американца по плечу, – смотри, пепси исчезла, улетела. Или лопнула. Жаль, я не успел заметить, что случилось с воздушным шаром. Кстати, все эти растворители кишок, которые вы потребляете тоннами, все эти ваши пепси и коки не менее вредны, чем мои сигареты.

– Ладно, Эндрю, кончай валять дурака. Ты врешь не только мне, но и себе самому. Тобой движет не забота о дочери, а обыкновенный старческий эгоизм. Ты хочешь, чтобы она всегда была при тебе. На одной чаше весов ее карьерный рост, ее деньги, ее профессиональная состоятельность, а что на другой? Твоя блажь? Беспредметные страхи?

– А при чем здесь карьерный рост и профессиональная состоятельность? Мисс Григ сотрудница Медиа-концерна «Парадиз», доктор психологии, специалист по связям с общественностью. С какой стати она должна лететь в Москву? У нее и здесь все отлично.

– Нет ничего постоянного, Эндрю, – вздохнул Макмерфи, – сегодня отлично, а завтра? Ты ведь понимаешь, насколько руководство концерна заинтересовано в ее командировке. Если она откажется, ее могут уволить. А виноват будешь ты, Эндрю. Впрочем, она не откажется.

И инфаркта у тебя не будет. Я хотел как лучше. Мне казалось, ты мог бы помочь ей, нам, концерну. Твой опыт, твое чутье и знание российского криминалитета...

– Билл, почему именно Машка? У вас же полно людей, почему она? – пробормотал Григорьев по-русски.

– Все, Эндрю, ты достал меня, мать твою! – рявкнул Макмерфи, тоже по-русски, и почти без акцента. – Потому что Машка умница, классный специалист, ее оценкам можно доверять, ее реакции адекватны, и никого лучше мы не нашли!

– В чем конечная цель операции?

– Я сто раз тебе объяснял! У нас есть основания подозревать, что глава демократической партии «Свобода выбора», лидер самой влиятельной думской фракции в России Евгений Рязанцев связан с криминалом настолько тесно, что деньги, которые в него вкладывают наши структуры, уходят к русским бандитам.

– Я тебе и так скажу, без всяких операций, что Женька Рязанцев связан с бандитами, и через него ваши деньги уходят в воровской обшак, – Григорьев оскалил голубоватые фарфоровые зубы. – Впрочем, не стоит называть их бандитами. Вполне солидные люди. Они не воруют, а контролируют финансовые потоки. И между прочим, от них эти потоки направляются назад, к вам, в ваши банки.

– Что значит – к вам? – проглотив нервный смешок, перебил его Макмерфи. – Разве ты, Эндрю, не гражданин Америки? И потом, у нас коммерческие банки, деньги принадлежат вкладчикам...

– Дай мне договорить, Билл, – поморщился Григорьев, – я не собираюсь с тобой спорить, ты знаешь, я вообще терпеть не могу спорить и толочь воду в ступе. Вы хотите влиять на политику и экономику России? У вас там свои интересы? Извольте платить, причем не тому, кто вам нравится, не демократическим сямкам, которые покрутились в Гарварде, умеют улыбаться и говорить по-английски, а людям более серьезным и менее обаятельным. Так было и так будет. И чтобы в этом убедиться, не надо внедрять к Рязанцеву мою Машку в качестве представителя Медиа-концерна «Парадиз», консультанта по пиару. Тем более там уже работает такой представитель-консультант, зовут его Томас Бриттен, он отличный специалист, сидит в пресс-центре Рязанцева уже второй год и поставляет вполне добротную, надежную информацию, да и не один он там, есть еще несколько надежных легендированных агентов... – Григорьев осекся, наткнувшись на странный, застывший взгляд Макмерфи. Американец глядел как бы сквозь него и явно пытался что-то важное для себя решить прямо сейчас, сию минуту.

– Ты стареешь, Эндрю, – заговорил он медленно, по-русски, – мы с тобой ровесники, но в отличие от меня, ты стареешь слишком стремительно, как будто нарочно самого себя гроишь, загоняешь в старость. Тебе настолько все безразлично, что ты забываешь смотреть утренние новости. Сегодня, в полдень по московскому времени и в три часа ночи по нью-йоркскому, Томас Бриттен был обнаружен мертвым в чужой квартире, в центре Москвы. Это передало Би-би-си. Пока только это. Но мы, разумеется, знаем больше. По нашим сведениям, он был убит в квартире руководителя пресс-центра думской фракции «Свобода выбора» Виктории Кравцовой. Их обоих застрелили в постели. Утром трупы обнаружила домработница. Мисс Григ должна лететь завтра, уже все готово. Но ей не по себе оттого, что ты против. Она уже пакует чемоданы и жутко боится разговора с тобой. Два часа назад она сказала, что у ее любимого папочки случится инфаркт, если он узнает. Именно это ее волнует сейчас. А она должна быть спокойна. Спокойна и уверена. Понимаешь, ты, старый осел? Я обещал ей, что подготовлю тебя. Слушай, ты можешь не пускать мне дым прямо в лицо?

## Глава третья

При первоначальном осмотре места преступления никаких следов взлома и ограбления, никакого беспорядка обнаружено не было. Убийца имел ключ от квартиры либо действовал хорошей отмычкой. Орудия убийства не нашли. Судмедэксперт сказал, что мужчина умер примерно на час раньше женщины. Произошло это между шестью и семью утра.

– А мокренькое какое интересное, ну вообще, блин, – старший лейтенант Остапчук присвистнул и покачал головой, – мужик американец, а женщина, кажется, еще круче. Слышь, Сань, я все думаю: откуда у людей такие бабки? Вот кто она, эта Кравцова Виктория Павловна семидесятого года рождения? Кто она такая, чтобы так классно жить, а? Может, путана? – Он выложил на стол перед майором Арсеньевым документы убитых и тут же запел чистым тенором старый шлягер про путану и афганца.

Из спальни выносили трупы. Домработница Светлана Анатольевна Лисова внезапно поднялась и вышла. До этой минуты она сидела молча и смотрела в одну точку. Она с самого начала предупредила, что пока не может отвечать ни на какие вопросы. У нее шок.

– Одну минуточку, пожалуйста! – крикнула она санитарам и на цыпочках, крадучись, словно опасаясь разбудить мертвых, приблизилась к носилкам. Санитары остановились. Лисова подняла угол простыни, закрывавшей лицо покойной, и несколько секунд смотрела, прощалась. Затем аккуратно накрыла, расправила складки и с легким вздохом обратилась к санитарам:

– Все, спасибо.

– Светлана Анатольевна, – окликнул ее Арсеньев, – может, вы посмотрите еще раз, насчет украшений.

– Я уже сказала вам, все, что было, осталось на ней! – звенящим голосом прокричала Лисова.

– Серьги из белого металла с голубыми и белыми камнями, цепочка из светло-желтого металла, образец эмалевый, часы из белого металла, – забормотал себе под нос Арсеньев, перечитывая протокол осмотра трупа.

Металл был белым золотом, камни – сапфиры и бриллианты, часы фирмы «Картье», тоже из белого золота, украшенные бриллиантами. Все это сверкало и вопило о своей невыносимой цене, и ни на что убийца не позарился.

– Светлана Анатольевна, ваша хозяйка не снимала свои украшения на ночь? – спросил Арсеньев чуть громче.

Она не ответила, затопала по коридору, печатая шаг, как на параде. Но вдруг остановилась, круто развернулась у зеркала, достала из кармана салфетку, подышала на угол зеркала, протерла, еще через пару шагов остановилась, поправила рамку картины на стене. От хлопка входной двери вздрогнула и несколько секунд стояла, как каменная. Наконец, спохватившись, кинулась суетливо стирать невидимую пыль с этажерки, все той же бумажной салфеткой.

– Пожалуйста, не надо ничего трогать, – чуть повысив голос, напомнил ей майор.

– Да, конечно, – ответила она, не оборачиваясь, скрылась в ванной и включила воду.

– От, тетка, представляешь, че делает, а? Вообще, хоть бы поплакала, блин. Шок у нее. Ни фиги, врет она. Нет никакого шока. Вон, какая деловая, – ехидно заметил Остапчук.

– Почему обязательно врет? – пожал плечами майор. – Шок у всех проявляется по-разному.

– Знаешь, Сань, я тут вспомнил, как ограбили квартиру этой, как ее, ну, певички, – Остапчук сморщил свой толстый, мягкий нос и быстро защелкал пальцами. – Сань, подскажи, как ее, блин? – Он глубоко задумался на минуту и вдруг опять запел:

– *Мальчик мой нежный, принц синеглазый,  
Ты не люби ее, дуру-заразу!*

– О чем ты вспомнил, Гена? – не поднимая головы от протокола, спросил Арсеньев.

– Фамилия из головы вылетела, ну очень известная певица. А вспомнил я, Сань, потому, что там вот тоже домработница или нянька, все ходила, совсем стала своя, а потом квартиру грабнули, и оказалось – ее сынок с приятелем, – Остапчук поджал губы, подмигнул обоими глазами и кивнул в сторону двери, – тут вроде следов ограбления нет, но надо еще все хорошо посмотреть. На украшения, которые были на ней, убийца не позарился, а из ящиков там, из тайников, мог все выгрести. Представляешь, Сань, какие в такой квартирке гринь, брюлики, а, Сань? Вот и где они? Нету! – Он огляделся и развел руками: – У американца наверняка был полный бумажник, что ж он, без денег, что ли, жил? А теперь, гляди, полторы тысячи рублей, и ни одного гринь.

– Карточки у него, Гена, – объяснил Арсеньев, – а настоящего обыска в квартире еще не производили. У домработницы детей нет. Ты же видел ее паспорт.

– Ну и что? А племянник? А любовник? Во, я все понял! Старая одинокая тетка завела себе молодого хахала, ей же надо его кормить-одевать, она здесь убирает, чистит, себя не щадит, а деньги прямо под руками, вот они, бери – не хочу! Ладно, Саня, не смотри на меня так. Шутка!

– Вы что, с ума сошли?! – послышался из спальни возмущенный крик трассолога. – Сейчас же прекратите, ведь сказано ясно: ничего не трогать!

– Надо смыть кровь, – громко, но вполне спокойно ответила Лисова. – Смотрите, вот здесь, на тумбочке.

– О! Улики затирает, – Остапчук радостно захихикал, – это ж надо, прямо при нас, не стесняется, танк, а не женщина, скажи, Сань?

– Прекрати ржать, – поморщился Арсеньев, – двух человек убили.

– Ой-ой-ой, какие мы правильные, – проворчал старший лейтенант, – слышь, Сань, ты не вспомнил, как зовут певицу?

Майор ничего не ответил. В гостиную вернулась домработница. Запахло каким-то моющим средством. В руках у нее был пластиковый синий тазик, в котором хлопала мыльная вода. Она недовольно огляделась.

– Господи, какая грязь... невозможно.

– Светлана Анатольевна, сядьте, пожалуйста, – майор взял у нее тазик, поставил на пол, – я должен задать вам еще несколько вопросов.

– Я не знаю, – она помотала головой и нахмурилась, – не понимаю. Чего вы от меня хотите? Я вошла в квартиру, увидела их на кровати и сразу позвонила в милицию. Мне добавить совершенно нечего.

– Как вам кажется, что-нибудь из вещей пропало?

– Чтобы ответить, мне надо посмотреть. А как я могу, если вы не позволяете ни к чему прикасаться?

– Хозяйка держала в доме крупные суммы денег?

Широкое мягкое лицо Лисовой моментально вспыхнуло.

– Не знаю! – прошипела она и энергично помотала головой.

– А кто знает? – вкрадчиво встрял Остапчук.

– Во всяком случае, не я! У меня нет привычки копаться в чужих вещах, и чужими деньгами я не интересуюсь.

– Погодите, но вы же убираете в квартире, – напомнил Арсеньев, – вам приходится раскладывать вещи по местам.

– Да, я стираю белье, развешиваю одежду в гардеробной комнате, чищу обувь. Но я никогда не заглядываю в ящики комода и письменного стола. Я понятия не имею, что там может лежать.

– Ну хорошо, а родственники какие-нибудь есть у нее? Родители, сестра, брат?

– Родители, вероятно, есть. Во всяком случае, мать. Где-то в глубокой провинции. Но я здесь вам ничем помочь не могу. Никогда ее не видела и даже не слышала, чтобы они говорили по телефону.

– А что вы так нервничаете? – недоуменно пожал плечами Остапчук.

– Довольно сложно сохранять спокойствие в подобной ситуации, – Лисова саркастически усмехнулась, – вы, молодые люди, привыкли к смерти, к трупам, а я, извините, нет.

– Ну ладно, – вздохнул Арсеньев, – чем занималась ваша хозяйка Кравцова Виктория Павловна?

– Вы же смотрели документы.

– Хотелось бы услышать от вас, более подробно.

– Я не знаю.

– Не знаете, где работала ваша хозяйка?

– Понятия не имею, – в голосе Лисовой послышался легкий вызов, – в наше время это вообще не важно.

– Простите, не понял, – Арсеньев улыбнулся, – что именно не важно?

– В наше время, молодой человек, люди не работают. Они делают деньги. Во всяком случае, люди того круга, к которому принадлежала покойная.

– А к какому кругу она принадлежала, интересно? – опять встрял Остапчук. – Что-то я не понимаю, гражданка Лисова. Ничего-то вы не знаете, ни о чем понятия не имеете, – он зашел сзади и оперся руками на спинку ее стула, – получается, что отвечать на наши вопросы вы не желаете. Тогда давайте оформлять все, как положено, в письменной форме, на имя прокурора, с подробным объяснением причин, по которым вы отказываетесь давать свидетельские показания.

– Я не отказываюсь давать показания. Я просто не могу разговаривать в таком тоне, – холодно отчеканила Лисова.

– Нормальный тон, гражданка, нормальный, – возразил Остапчук.

– Пожалуйста, Светлана Анатольевна, ответьте на вопрос. Где работала ваша хозяйка? – Арсеньев грозно взглянул на старшего лейтенанта через ее голову и выразительно двинул бровями. Остапчук в ответ скорчил уморительную рожу и поднял руки, мол, разбирайся сам с этой теткой.

Светлана Анатольевна между тем встала, направилась в угол гостиной, долго рылась в своей вместительной сумке, наконец достала бутылочку валокордина, накапала в рюмку, выпила залпом, промокнула губы все той же салфеткой, уже серой от пыли, аккуратно сложила ее, спрятала в карман, после чего вернулась на место и, глядя мимо Арсеньева, быстро невнятно произнесла:

– Кажется, она занималась рекламой. Вообще, меня все это не касается. Я не имею привычки совать нос в чужие дела.

«Так ведет себя человек, который боится сболтнуть лишнее, – машинально отметил майор, – нет, неверно. Так ведет себя человек, который вообще боится. Всего на свете. Но не хочет этого показывать. А кому на ее месте не было бы страшно?»

– Значит, вы пришли в одиннадцать сорок? – уточнил Арсеньев, глядя в выпуклые светло-карие глаза домработницы. – Вы ожидали застать Викторию Павловну дома?

– Я пришла убрать в квартире. Я прихожу три раза в неделю, к двенадцати, и работаю до шести. У меня есть ключ. Остальное меня не касается.

– Ваша хозяйка не собиралась уезжать из Москвы на праздники?

– Не знаю.

– погодите, Светлана Анатольевна, но вы ведь как-то общались, разговаривали? Она вам платила, предупреждала, что должна уехать, что придут гости, ну и так далее, – Арсеньев слегка напрягся, пока не понимая почему. Вряд ли ему передалась шутовская подозрительность Гены Остапчука. Старший лейтенант вообще всегда всех подозревал, даже в случаях естественной смерти со значением кивал в сторону близких покойного, а потом долго вычислял, какие у этих близких могли быть мотивы и выгоды, что им достанется из имущества.

– Одним из условий было молчание, – Лисова надменно вскинула подбородок. – Когда я начала здесь работать...

– А когда вы начали? – быстро перебил Арсеньев.

– Год назад.

– По рекомендации знакомых? Или через агентство?

– По просьбе моего близкого друга. Я много лет веду в его доме хозяйство, и он попросил помочь одинокой женщине, с которой связан по работе.

– По работе? Значит, вы все-таки знаете, где работала ваша хозяйка? – тихо спросил Арсеньев.

Лисова молча помотала головой.

– Что за близкий друг? Пожалуйста, назовите его фамилию.

– Послушайте, зачем вы меня допрашиваете? По какому праву? Все равно вам не доверят расследовать такое серьезное дело. Убит иностранец, и мне странно, почему до сих пор здесь нет сотрудников ФСБ. А вы, собственно, кто такой? Из районного отделения?

– Почему район? Мы не район! – обиделся Остапчук. – Мы из МУРа, я же вам, гражданочка, показывал удостоверение. Читать умеете? Так знакомого-то вашего как зовут, который вас сюда рекомендовал? Телефончик его потрудитесь сообщить.

Лисова вытаращила глаза, открыла рот, но больше не произнесла ни слова и вдруг стала медленно заваливаться на бок, продолжая смотреть на Арсеньева. Остапчук все еще стоял позади нее и успел подхватить. Со стула она не свалилась.

– Ну, ну, гражданочка, не надо нам здесь спектакли разыгрывать, – проворчал он и легонько похлопал ее по щекам.

Впрочем, это был не спектакль. Светлана Анатольевна действительно на несколько минут лишилась чувств.

\* \* \*

Дождь кончился, но туман все не рассеивался. Он стал голубоватым, как обезжиренное молоко.

– Возьми себя в руки, – бормотал Андрей Евгеньевич Григорьев, пробегая мелкой трусцой по влажному тротуару, мимо нарядных двухэтажных домов классического колониального стиля, мимо аккуратной маленькой копии готического собора с двумя тонкими ребристыми башенками и цветными витражами. На углу Сидней-стрит он чуть не налетел на разносчика пиццы, который тащил высоченную стопку белых коробок, и видны были только его ноги в форменных синих штанах с желтыми лампасами.

За чугунной оградой школы святого Мартина резвились дети. Настоящие маленькие американцы, раскованные, сытые, счастливые. Все вокруг напоминало качественное голливудское кино, и бегущий трусцой благородный старик Эндрю Григорьев с лицом усталого от собственных знаний профессора, немного комичный, но вполне добротный американский гражданин, чудесно вписывался в кадр.

Мяч перелетел через ограду, подпрыгнул у ног Григорьева и скакнул на мостовую. Кино продолжалось.

– Пожалуйста, сэр! – прозвучал из-за ограды детский голос.

Русоволосый румяный мальчик схватился руками за чугунные прутья, смотрел на Григорьева и улыбался. Андрей Евгеньевич шагнул на мостовую, поймал мяч. Это оказалась голова чудовища из популярного мультсериала. Не дай бог присниться во сне такая глумливая гадина.

– Сэр, пожалуйста, верните наш мяч! – рядом с мальчиком у ограды стояла девочка, изящная, игрушечная девочка с большими карими глазами и такими гладкими блестящими волосами, что голова ее напоминала облизанный апельсиновый леденец. Минуту назад она носилась и прыгала, а волосы у нее остались в полном порядке, как у настоящей киногероини. Лишь металлическая пластинка на передних зубах нарушала голливудскую гармонию кадра.

Григорьев размахнулся, чтобы перебросить монстра через ограду, но замер в нелепой позе. Ему вдруг почудилось, что вместо мяча в руках у него бомба, и через секунду живая картинка, подернутая теплым диетическим туманом, распадется на тысячу кровавых клочьев. Сверху на него смотрел фантастический урод, отштампованный на мячике, и усмехался гигантским злобным ртом. Григорьев попытался вспомнить имя мультяшного маньяка, но не сумел.

В Японии детишки бьются в судорогах и выбрасываются из окон, насмотревшись мультиков про таких вот веселых ублюдков. Здесь, в Америке, младшие школьники таскают пистолеты у родителей и стреляют в одноклассников.

– Это не я сошел с ума от страха за Машку. Это мир сошел с ума, – пробормотал Григорьев и перекинул мяч.

– Спасибо, сэр! – румяный мальчик поймал голову монстра, прижал к груди и, прежде чем бросить леденцовой девочке, смачно поцеловал маньяка в нарисованную вампирскую пасть.

Андрей Евгеньевич побежал дальше, не оглядываясь. Ему не хватало воздуха. Обычно здоровый американский бег трусцой по этим тихим красивым улицам успокаивал его, но сейчас сердце разбухло и пульсировало у горла, как будто собиралось лопнуть.

– Возьми себя в руки! – повторял Григорьев. – Возьми себя в руки, бережно отнеси в свою гостиную, к камину, к дивану, к теплому халату, к карликовой японской яблоньке во внутреннем дворе. Как раз сегодня утром она зацвела, раскрыла нежнейшие бело-розовые бутоны. Что может быть важнее и значительнее такой красоты? Да ничего на свете!

Андрей Евгеньевич уже не бежал, а шел, очень медленно, сгорбившись, считая каждый шаг. До дома оставалось не больше пятидесяти метров. Свернув на свою улицу, он почти сразу увидел сиреневый спортивный «Форд». Машина стояла возле ворот его гаража, и ворота медленно ползли вверх.

– Мерзавка! – прошептал Григорьев. – Я тебе покажу Москву! Я тебе устрою спецоперацию! Прощаться приехала? Сказать гуд-бай и поцеловать любимого папочку в лобик? Благодарения попросить? Хрен тебе, Машка! Я тебя на это не благословляю! – Он сжал кулаки в бессильной ярости и сам не заметил, как распрямилась спина. Он уже не плелся, не шаркал. Он шагал пружинистым сильным шагом, и глаза его сверкали сквозь последние легкие клочья тумана.

Когда он приблизился к воротам, гневный монолог иссяк, затих, словно шипение воды на раскаленных углях. Тонкая фигурка в белых узких джинсах и свободном бледно-голубом пуловере ждала его на высоком крыльце. Туман окончательно рассеялся.

– Привет, – сказала она и шагнула вниз, ему навстречу, – привет, папа. Тебе очень идет этот свитер.

Ее волосы, такие же светлые, как у ее матери, блестели на солнце. Большие глаза, тоже материнские, меняли цвет в зависимости от погоды, освещения и цвета одежды. Сейчас она была в голубом, и глаза казались совершенно небесными, ангельскими. Она смотрела на него сверху вниз, ласково и насмешливо, как умела смотреть ее мать, и уже потянулась, чтобы чмок-

нуть его в колючую щеку, но он грубо отстранил ее и принялся молча, сосредоточенно шарить в карманах.

– У меня есть ключи, – Маша протянула ему свою связку, – если ты будешь злиться, я сейчас уеду.

– Скатертью дорожка, катись отсюда, маленькая засранка, – проворчал он и добавил по-английски: – Вы спешите, леди, у вас много дел, я вас не задерживаю.

– Папа, кончай валять дурака. – Она вошла вслед за ним в дом и все-таки чмокнула его в щеку. – Ты почему такой мокрый? Бежал?

– Отстань, – он прошагал мимо нее в гостиную, плюхнулся на свой любимый диван.

Но она и не приставала больше. Она отправилась на кухню, захлопала дверцами, зашуршала пакетами. Он сидел на диване, смотрел, как преломляется солнечный свет в каждом яблоневом цветке. Сказочная красота вызывала острое, странное раздражение.

«Машка улетит и исчезнет, – думал он, – она точно исчезнет в этой опасной, непредсказуемой стране. Никакие мои связи, заслуги, возможности не помогут. А стало быть, ничего уже не важно и не нужно. Волшебное деревце со своим бескорыстным радужным трепетом, с переливами тени и света не спасет от смертельной тоски».

– Ты завтракал? – негромко крикнула Маша из кухни.

Григорьев подпрыгнул на диване, схватил пульт, включил телевизор и до предела увеличил звук. Дом наполнился визгом, грохотом, утробным бульканьем. Шел тот самый японский мультфильм, герой которого был отштампован на детском мячике. Маша, морщась, зажав ладонями уши, влетела в гостиную, выключила телевизор и села на диван рядом с ним.

– Я знаю, почему ты злишься, – сказала она тихо, – ты мне завидуешь. Ты бы сам с удовольствием слетал на родину. Верно? Там так сейчас интересно...

Григорьев ничего не ответил. Он смотрел в погасший телеэкран. В нем отражались два смутных, искаженных силуэта. У Маши получалась огромная голова и маленькое тело. Она напоминала бело-голубого головастика. У него, наоборот, голова уменьшилась, шея вытянулась, а корпус вырос в бесформенную массу. Он стал похож на динозавра, на старого, давно вымершего тупицу, у которого капелька вялого мозга и тонны жизнерадостного мяса.

– Нет, я понимаю, не стоило впутывать в наши семейные дела чужого человека, но ты же знаешь Макмерфи. Я вообще не собиралась с ним это обсуждать. Он сам затеял разговор, спросил, знаешь ли ты уже и почему я тебе до сих пор не сказала?

– Кстати, почему?

– Потому!

– Можно конкретней?

– Боялась, – чуть повысила голос Маша, – предвидела, какая будет реакция. И, между прочим, не ошиблась.

– Спасибо, доченька, – процедил Григорьев сквозь зубы, – большое тебе спасибо, мне, конечно, было очень приятно услышать такую новость от Макмерфи, а не от тебя, да еще за сутки до твоего отлета.

– За десять часов, – мягко уточнила она.

– Как – за десять? То есть что, прямо сегодня? Практически сейчас?

– Да, папочка. Так даже лучше. Меньше разговоров, переживаний, – Маша встала, гибко потянулась и подошла к стеклянной двери, ведущей во внутренний двор. – Смотри, твое деревце зацвело, а ты говорил, яблонька должна засохнуть к весне. Слушай, ты будешь пить кофе или я одна? Я, между прочим, еще не завтракала.

– Десять часов, говоришь? Ладно, Машка, у нас действительно очень мало времени, – Григорьев зажмурился и слегка потряхнул головой, – как давно возникла идея отправить тебя туда?

– Думаю, Макмерфи начал готовить меня пару месяцев назад.

– Что значит – думаю?

– Ты же знаешь, как это происходит. Вначале ничего не говорится прямо. Идет отбор. Даются одинаковые задания разным людям, сверяются результаты. Вероятно, я справилась лучше других. Ну и потом, им нужно отправить туда очень молодого человека, лет двадцати пяти, – она шагнула к овальному зеркалу, расстегнула заколку и запустила пальцы в свои мягкие прямые волосы, – как тебе кажется, если я подстригусь под мальчика, я буду выглядеть моложе? Макмерфи просил меня подстричься. А мне жалко.

– Что за чушь? Они тебя легендируют, что ли? – Григорьев нервно усмехнулся и отшвырнул зажигалку, которая так и не зажглась.

– Ну, не совсем, – она подняла волосы вверх и прижала их ладонями ко лбу, – челка мне, конечно, не пойдет. Но если подстричься совсем коротко, чтобы лоб был открыт, получится неплохо. В России это называется «тифози». Между прочим, модно сейчас. Знаешь, сзади совсем ничего, практически голый затылок, до макушки. Шея кажется длинней. Правда, щетина вылезает быстро, и это выглядит довольно противно. Надо постоянно подбривать.

– Почему именно ты? – тоскливо пробормотал Григорьев.

– Потому, что я такая умная, красивая и талантливая. Потому, что четыре года назад, когда господин Рязанцев читал лекции в Гарварде, он явно выделял меня среди прочих студентов. Ему нравится такой тип людей, такой тип женщин. Мне будет несложно наладить с ним доверительные отношения. Компьютерный анализ это подтвердил, – Маша в очередной раз повернулась перед зеркалом и тряхнула волосами. – Все-таки стричься мне или нет, как ты думаешь?

– В чем заключались проверочные задания? В каком качестве ты туда летишь? Какие доверительные отношения? Почему ты должна быть младше самой себя?

– Не младше, – улыбнулась Маша, – наивней. Я должна быть восторженной и трогательной дурочкой. Ну, не двадцати восьми, а двадцати пяти лет. Подумаешь, какие-то три года... В России вообще не принято говорить о женском возрасте. Между прочим, это правильно.

– Кончай морочить мне голову! – закричал он и тут же прикусил язык, вспомнив, что позавчера в его доме перегорели пробки и приходил веселый пожилой электрик Оскар. Это случилось всякий раз после того, как он обнаруживал и снимал «жучки». Оскар, добродушный толстяк, балагур, проверял проводку и лепил новые «жучки», выбирая для них более укромные места. Чтобы Маша не успела ответить на вопрос тупого жирного динозавра, он искусственно закашлялся. Она тут же отняла у него сигарету, загасила, сбегала на кухню и вернулась со стаканом воды.

– Знаешь что, пойдем завтракать к «Ореховой Кларе», – сказал Андрей Евгеньевич, сделав несколько глотков, – у меня только хлеб, масло, яйца и бекон. Никаких фруктов, ничего вегетарианского для тебя.

Она лишь слегка сдвинула брови. Ни удивления, ни испуга не мелькнуло в ее ангельских ясных глазах, и Григорьев мысленно поздравил себя. Не так уж туп жирный динозавр, если сумел научить своего хрупкого головастика такой железной выдержке. Она ведь была на кухне, заглядывала в буфет и в холодильник. В его доме всегда, в любое время суток, имелся специально для нее запас вегетарианской еды: орешки, фрукты, свежий йогурт. Конечно, она отлично знала, что дом ее отца прослушивается. Однако верила, что это делают свои. Так положено, для безопасности. От своих не может быть секретов. Он сам внушил ей это. Тоже для безопасности.

## Глава четвертая

Каждый действующий политик может быть подвержен дестабилизации. И чем активней он действует, тем больше нарабатывает факторов риска, – Евгений Николаевич Рязанцев с мягкой, снисходительной улыбкой смотрел в глазок телекамеры и пытался представить, что перед ним живые глаза, внимательные и восторженные женские глаза. Он всегда чувствовал себя отлично в женском обществе, намного уютней и уверенней, чем в мужском. И то, что к нему приехала одна из самых эффектных леди российского экрана, должно было бодрить. Но не бодрило.

Звезда тележурналистики Надежда Круглова, может, и родилась девочкой, но уже в младенчестве стала бабой, теткой, вечно голодной шучкой, готовой вцепиться зубами не только в чужой съедобный кусок, но и в несъедобную часть чужого тела.

– И часто вас подвергают дестабилизации? – ехидно спросила Круглова, изящным движением откинув белокурую прядь.

Работали две телекамеры. Рязанцева снимали жестко, широкоугольным объективом. Он знал, что на экране пропорции лица будут искажены. Нос и губы получатся огромные, глаза маленькие, лоб низкий, скошенный назад. Каждая пора, каждая родинка и морщинка вылезут особенно грубо, грубее, чем в жизни.

– Ну а как же, – Рязанцев весело рассмеялся в камеру, – конечно подвергают, и за это надо сказать спасибо. Представляете действующего политика, известного человека, без врагов, соперников и завистников?

– Много у вас завистников? – спросила она, серьезно и сочувственно глядя в свою камеру.

Круглову снимали нежно, через специальный фильтр. Ее личный оператор знал наизусть все ее выигрышные ракурсы. Ее личная гримерша стояла тут же, в полной боевой готовности, и каждые полчаса бросалась к звезде, чтобы освежить сложный макияж. Были еще и костюмерша, и администратор, и два осветителя, и какой-то просто мальчик, помощник то ли администратора, то ли костюмерши, не старше восемнадцати, очень хорошенький.

– А у вас? – спросил он, отворачиваясь от камеры и глядя на нее точно так же, серьезно, сочувственно. Она презрительно фыркнула в ответ.

Он покосился на часы. Двадцать минут первого. Вика обещала приехать к десяти, за полчаса до съемочной группы, чтобы обсудить последние детали и быть с ним рядом. Она никогда не опаздывала и всегда предупреждала, если задерживалась даже на десять минут. Без Вики ему всегда было трудно, но сейчас просто невыносимо.

Пару дней назад она заставила его просмотреть несколько видеокассет с передачами Кругловой.

«Обрати внимание, когда она греет собеседника взглядом доброй мамочки, это сигнал тревоги, она на самом деле, как кобра раздувает свой капюшон, собирается атаковать и потом смонтирует из тебя жалкого идиота, – предупреждала Вика, – не вздумай поддаваться, тут же посылай ответный удар».

Вика тщательно готовила его к этой съемке. Для политика, даже очень известного, появление в программе Кругловой считалось эпохальным событием. У передачи был гигантский рейтинг. Зловредная желтая пресса постоянно напоминала наивным телезрителям, что передача рекламная, платная. За тридцать тысяч долларов леди Круглова вместе со своей профессиональной свитой примчится куда угодно и к кому угодно, хоть к премьер-министру, хоть к вору в законе. Однако рейтинг не падал. Цифры с нулями только подогревали интерес публики: если так дорого стоит стать героем передачи, значит, передача хорошая.

Круглова действительно знала свое дело. Она выставляла героев не то чтобы идиотами и ничтожествами, но капельку глупее, чем они есть и чем они сами о себе думают. Она их

делала смешными и немного жалкими, словно подмигивая зрителю, мол, мы-то с вами знаем, он только с виду такой важный, такой успешный и хитрый. На самом деле – вот, смотрите, у него на щеке бородавка, куча комплексов из-за лысины и лишнего веса, и жена стерва, крутит им как хочет.

Вчера днем Вика приехала, чтобы тщательно осмотреть дом, поскольку съемочная группа полезет во все щели. Он просил ее остаться, но она сказала, что им обоим надо как следует выспаться, и уехала домой.

«Не забывай, что она журналист. А журналист всегда на стороне посредственности, и главная ее задача – принизить личность до уровня толпы. Даже такая звезда, как Круглова, вынуждена постоянно говорить о других и почти никогда о себе. Конечно, ей обидно. Какие бы деньги мы ей ни заплатили, она все равно будет тебя опускать. Чем ты лучше, тем ей хуже, и наоборот. Поэтому не пытайся ей понравиться. Веди себя так, словно ее нет и ты один, наедине с камерами, с миллионами телезрителей. А вопросы тебе задает какая-нибудь умная машина».

Глядя в длинные, черные, красиво подведенные глаза Кругловой, он вспоминал Викины наставления и думал о том, что было бы значительно легче, если бы Вика сейчас находилась рядом, в соседней комнате. И не надо никаких наставлений.

– Вообще-то речь сейчас не обо мне, а о вас, – раздраженно заметила Круглова, – не понимаю, вы что, боитесь говорить о завистниках, о соперниках?

– Надюша, – он погрозил ей пальцем, как маленькой расшалившейся девочке, – мы же условились, что будем избегать слишком серьезных политических проблем. Это скучно, и ваша передача не об этом.

– Значит, вы считаете, что плохое отношение к вам лично – это серьезная политическая проблема?

Он опять тревожно взглянул на часы. Вчера вечером он просил Вику не только остаться на ночь, но и участвовать в съемке вместе с ним. Передача Кругловой была домашняя, семейная.

– В каком же качестве? – спросила Вика. – Все знают, что у тебя есть жена и двое взрослых детей. Она живет в Италии, а дети учатся в Кембридже. Вы далеко друг от друга, но у вас крепкая, дружная семья. А я всего лишь твой пиар, существо без пола и возраста.

– Я разведусь, – пообещал он.

Вика ничего не ответила, поцеловала его, уехала и до сих пор не вернулась, даже не позвонила.

– Все мои проблемы так или иначе политические, я ведь политик и ни о чем другом серьезно не беспокоюсь, кроме общественного блага, – на этот раз он воспользовался лучшей своей улыбкой, хитрой улыбкой чеширского кота из «Алисы в Стране чудес». Она была бесценна, потому что смягчала и сводила на уровень милой самоиронии любую заумность и любую глупость.

– Кстати, почему вы стали политиком?

– Потому, что у нас в России слишком уж интересно жить. Все время что-нибудь происходит. То подземные переходы взрываются, то телебашня горит, то рубль рушится. А я хочу, чтобы стало скучно, как, допустим, в Швеции.

– То есть ваша идеология – это идеология скуки?

Он открыл рот, чтобы ответить, но тут до него донеслась тихая нежная мелодия. Несколько первых тактов из «Лав стори» Франсиса Лея. Это звонил мобильный Егорыча, начальника службы безопасности, единственный телефон, который не был выключен на время съемки. Это звонила Вика. Он услышал, как Егорыч произнес «Алло», и больше ничего. В трубке что-то говорили, а Егорыч вместе с телефоном уходил все дальше, через заднюю веранду в сад.

Глаза Кругловой вспыхнули победно и насмешливо. Она, разумеется, приняла его замешательство на свой счет, она решила, что поставила его в тупик своим гениальным вопросом.

– А вам весело, когда тонут подводные лодки с живыми людьми потому, что их заливают негодным дешевым топливом? Когда пассажирские самолеты падают на детские сады, потому что разворованы деньги, необходимые для технического обслуживания? – произнес он хрипло. – Впрочем, это риторический вопрос. Конечно, вам не просто весело. Вам это необходимо, как воздух. Вы утверждаете, что говорите правду? Публика отупела от вашей правды, от ежедневных скандалов и компроматов. Люди становятся равнодушными и жестокими, как наколотые наркоманы. Может правда стать наркотиком? Конечно, если умело ее использовать. Вы посадили их на вашу чернушную правду жизни, как на иглу, – он говорил спокойно, медленно и продолжал улыбаться.

На этот раз с открытым ртом застыла Круглова. Реакция свиты была поразительна. Он еще не закончил фразу, а уже толстенькая гримерша пудрила свою королеву, оба оператора выключили камеры и принялись менять кассеты. Воспользовавшись паузой, он кинулся в сад, обежал дом, остановился у задней веранды, растерянно глядя на аллею, залитую солнцем.

Он понимал, что сейчас повел себя глупо, метал бисер перед свиньями. Никому от его пафосных обличений ни горячо и ни холодно. При монтаже все это вылетит. Передача семейная, уютная, он не на митинге и не в прямом эфире на политическом ток-шоу. Но он страшно нервничал из-за Вики, и ему требовалось срочно выпустить пар, наорать на кого-нибудь. Просто так орать было бы унизительно и глупо, а красивая разоблачительная речь политику никогда не повредит, даже если слушателей мало и они съемочная группа.

Он огляделся, шурясь от солнца. В первый момент ему показалось, что Егорыч испарился вместе со своим мобильником и Викиным голосом в трубке. Но, привыкнув к солнцу, он заметил темную широкоплечую фигуру на скамейке, в кустах. Егорыч тоже его заметил, встал, пошел навстречу, продолжая разговаривать. То есть сам он ничего не говорил, кроме да и нет.

– Это Вика? – громким шепотом спросил Рязанцев и протянул руку, чтобы отнять телефон.

Егорыч отрицательно помотал головой и быстро, тихо произнес в трубку:

– Ну все, Петр Иванович, я понял. Я тебе позже перезвоню, минут через двадцать. Лады?

– Вика не звонила? – спросил Рязанцев, справившись с одышкой.

– Нет, – Егорыч обычно смотрел прямо в глаза, но тут почему-то уставился в подбородок.

– А ты звонил ей?

– Мобильный выключен, домашний не отвечает.

– Ну так дозвонись! Она обещала к десяти, а сейчас...

Егорыч не отрывал глаз от его подбородка.

– Ты считаешь, мне стоило побриться перед съемкой? – растерянно спросил Рязанцев.

– А? Нет, все нормально, – ответил Егорыч и перевел взгляд на крыльцо веранды. Оттуда послышался низкий красивый голос Кругловой:

– Евгений Николаевич, может быть, мы продолжим съемку в саду?

– Да, конечно, – громко ответил Рязанцев, развернулся всем корпусом, направился к крыльцу. Вслед за королевой из дома, ему навстречу, вывалила свита. Камеры были готовы, гримерша подошла к Рязанцеву, чтобы промокнуть и припудрить его вспотевший лоб. Он извинился, отстранил руку с пуховкой, неприлично быстро понесся по аллее, догнал Егорыча у ворот и, схватив его за плечи, выдохнул:

– Найди ее, дозвонись! Ты понял?

\* \* \*

Из вегетарианского ресторана «Ореховая Клара» Андрей Евгеньевич и Маша отправились в салон красоты «Марлен Дитрих». Маша заявила, что все-таки решила стричься. Во-первых, Макмерфи настаивал на создании нового образа, во-вторых, ей самой хотелось что-нибудь этакое с собой сотворить перед отлетом. Григорьев ждал на улице, и когда она вышла, еле сдержался, чтобы не вскрикнуть. С мальчишеским ежиком она стала такой же, какой он увидел ее в мае 1986-го, в аэропорту «Кеннеди», в инвалидной коляске с загипсованной рукой и с лицом, таким белым и неподвижным, что казалось, оно тоже отлито из гипса.

– Ну как? – спросила она, поворачиваясь перед зеркальной витриной.

– Тебе самой нравится?

– Пока не знаю. Я должна привыкнуть. Между прочим, именно с такой прической я прилетела в Америку. Или было еще короче?

– Нет. Так же.

– Ну да, меня обрили наголо за полтора месяца до отлета. В больнице случилась эпидемия стригущего лишая. И первое, о чем я спросила тебя, как будет «стригущий лишай» по-английски.

– А потом выразила недовольство, что тебе не дали посмотреть красивый город Хельсинки, – проворчал Григорьев.

– Ох, папочка, до чего же ты злопамятный. Это я так шутила, чтобы не зарыдать.

– Извини. У меня в тот момент было плохо с юмором.

– Сейчас, кажется, тоже.

Из парикмахерской они отправились к Маше домой. Она жила на Манхэттене, в Гринвич-вилледж. Небольшая, но дорогая и уютная квартира-студия располагалась на последнем этаже старого семиэтажного дома. В гостиной одна стена была полностью стеклянной, и открывался потрясающий вид на Манхэттен.

– На самом деле я еще даже не начинала собираться, – сообщила Маша, когда они вошли в квартиру. – Ты не знаешь, какая там сейчас погода?

– Тепло, но обещают похолодание.

– Как ты думаешь, почему там никогда не обещают ничего хорошего? – Маша скинула туфли и забралась с ногами на диван. – Если тепло, ждут похолодания, если курс рубля стабилен, начинают говорить об инфляции и экономическом кризисе.

– Такой менталитет, – пожал плечами Григорьев.

– Да ладно, папа, никакой не менталитет. Просто за семьдесят лет советской власти люди устали от официального оптимизма, от всех этих пятилеток, физкультурных парадов, плакатных обещаний райской жизни и теперь отдыхают. Хотят побыть скептиками и пессимистами. Ладно, надо собираться, – она взглянула на часы, соскользнула с дивана и крикнула, уже из гардеробной: – Ты не знаешь, можно купить там одежду? Неохота тащить с собой целый гардероб. Тем более его придется полностью менять, с такой стрижкой у меня совсем другой стиль.

– Там можно все купить, но значительно дороже, чем здесь, – пробормотал Григорьев.

– Ничего, у меня хорошие командировочные, – хмыкнула Маша.

На компьютерном столе, поверх разбросанных бумаг и дисков, Андрей Евгеньевич заметил разложенные веером цветные картинки-фотороботы и внимательно их рассматривал.

– Маша, подойди сюда. Ты что, собираешься взять это с собой?

Она появилась из гардеробной, с охапкой свитеров и блузок.

– Не знаю. Наверное. Как тебе кажется, я смогу там бегать по утрам?

– Смотря где ты будешь жить. Маша, я задал тебе вопрос. Ответь, пожалуйста.

– Да, папа, я поняла твой вопрос, – она присела на корточки у раскрытого чемодана и принялась складывать вещи, – я не могу тебе ответить.

– Что значит – не можешь? – Григорьев нервно захлопал себя по карманам в поисках сигарет.

– Не ищи. Ты выкинул пустую пачку у парикмахерской. – Маша упаковала первую порцию одежды, распрямилась и задумчиво уставилась на чемодан. – Это мое дело, папочка, – произнесла она чуть слышно, – если я очень захочу, я найду его. Правда, я пока не знаю, захочу ли, но у меня есть еще время подумать.

– Зачем? – сипло спросил Григорьев, пытаясь сохранить спокойствие. – Даже если допустить невозможное и представить, что через столько лет ты найдешь в России человека, не зная ни фамилии, ни точной даты рождения, ни места жительства, имея только вот эту карточную колоду, словесные портреты, составленные тобой по памяти, даже если ты его найдешь, что ты будешь делать дальше?

– Понятия не имею. Сначала я должна на него просто посмотреть, выяснить, как он поживает, чем занимается.

– Так, все, – Григорьев резко поднялся, – дай мне телефон. Я звоню Макмерфи. Ты никуда не летишь. Ты не можешь лететь в таком состоянии. У тебя бред, девочка моя. У тебя острый психоз. Мания, фобия, тараканы в голове, ты же доктор психологии и должна сама понимать. Тебе просто опасно туда лететь. Я не позволю.

Маша сидела на корточках перед раскрытым чемоданом, и, не поднимая головы, уже в десятый раз складывала одни и те же брюки.

– Папа, успокойся, пожалуйста. Я не собираюсь специально искать его, – произнесла она глухим, монотонным голосом, обращаясь скорее к чемодану, чем к отцу. – Мне просто интересно, что с ним стало. По моим расчетам, из него мог вырасти настоящий, классический серийный убийца. Помимо зыбкого словесного портрета, у меня есть несколько вариантов психологического портрета, с разными перспективами развития его кретинской личности. Я давно отношусь к нему как научной проблеме и хочу понять, насколько мои красивые теоретические расчеты расходятся с некрасивой действительностью. Вдруг я гений психологии и вычислила будущего маньяка?

– Ты блефуешь, девочка моя, – покачал головой Григорьев, – у тебя в детстве была дурацкая привычка сдирать корочки с подживших ссадин, до сих пор все коленки в шрамах. Ну что ты молчишь? Нечего возразить?

Маша быстро взглянула на него снизу вверх и рассмеялась.

– Прекрати! – крикнул Григорьев. – Мы говорим о серьезных вещах, не вижу ничего смешного.

– Напрасно, папочка. Всегда и во всем надо видеть что-нибудь смешное. Ты сам меня учил этому. Знаешь, где находится загородный дом господина Рязанцева? В поселке Малиновка по Ленинградскому шоссе. Всего в пяти километрах от деревни Язвищи. Именно там, в Язвищах, была лесная школа, в которую меня отправила бабушка в ноябре восьмидесят пятого.

## Глава пятая

Сане Арсеньеву не давали покоя эти несчастные шестьдесят минут. Почему женщину убили не сразу? Что произошло за час? От нее хотели получить какие-то сведения? Но в таком случае ее скорее всего пытали бы, ну или ударили пару раз. От побоев и пыток остаются следы. Однако их нет. Никаких видимых повреждений на теле, кроме смертельной дырки в голове.

Вряд ли у убийцы хватило терпения на спокойную получасовую беседу. Самый твердокаменный профи все равно нервничает во время работы, и когда ему приходится допрашивать свою жертву, бьет ее, даже если она готова ответить на все вопросы. Бьет, чтобы психологически разрядиться.

Впрочем, Саню Арсеньева все это уже не касалось.

Когда в квартире появилась опергруппа ФСБ, начался спектакль. Майор Птичкин, полный, совершенно лысый, но с пышными усами, похожими на воробьиные крылья, набросился на Арсеньева, заявил, что все не так, свидетельницу отпускать не следовало, трупы увезли слишком рано и теперь нет никакой возможности работать по горячим следам, поскольку он, майор Арсеньев, позаботился о том, чтобы все эти драгоценные следы были уничтожены.

– Я получил приказ из прокуратуры вывезти трупы как можно быстрее, пока не появилась пресса, – терпеливо объяснил Арсеньев. Он был уверен, что опергруппа ФСБ не могла не знать этого.

– Нет, а я не понял, чего вам-то помешало раньше приехать? – встрял смелый Остапчук, но в ответ не удостоился даже взгляда. Майор Птичкин только презрительно пошевелил усами.

Ясно, что известие об этом убийстве вызвало нешуточную панику во всех инстанциях, в МВД, в ФСБ, в Прокуратуре. Начальство на всех уровнях нервно соображало, кого можно послать и как сделать, чтобы во внешний мир просочилось как можно меньше информации.

Убитая, Кравцова Виктория Павловна, являлась руководителем пресс-службы думской фракции «Свобода выбора», а ее гость, гражданин США Томас Бриттен, являлся сотрудником крупнейшего американского Медиа-концерна «Парадиз», был прикомандирован к этой самой пресс-службе в качестве консультанта по связям с общественностью.

Поговорив по телефону, майор Птичкин мрачно сообщил, что майору Арсеньеву придется ехать вместе с ними в морг вслед за трупами. Представитель посольства туда уже направляется и требует, чтобы при опознании присутствовали не только сотрудники ФСБ, но и милиция, причем не просто какой-нибудь милиционер, а именно тот, который первым оказался на месте преступления.

Остапчука отправили домой, квартиру опечатали. Арсеньев, вяло отбиваясь от журналистов, собравшихся у дома, уселся в машину вместе с офицерами ФСБ. По дороге он заснул. Он отдежурил ночь в группе немедленного реагирования, плохо соображал, глаза закрывались сами собой.

Под музыку, лившуюся из приемника, под гул мотора и разговоры оперативников ему стал сниться какой-то бред. Генка Остапчук в шортах и гавайской рубашке отплясывал твист на пару с покойницей Викторией Кравцовой. На ней было узкое красное платье. Американец в ковбойской шляпе играл на саксофоне. Толстая домработница сидела под пальмой и обмахивалась кружевным веером.

– Эй, хорош дрыхнуть! – услышал он и обнаружил, что давно уже приехал, поднимается в лифте, а глаза все еще закрыты. – Ну ты даешь, майор, – покачал головой усатый Птичкин, – спишь на ходу, как сомнамбула. Сходи в сортир, умойся холодной водой.

Саня послушался доброго совета, и действительно стало легче. Не хватало только чашки крепкого кофе с каким-нибудь бутербродом, но об этом пока не стоило мечтать.

Американский дипломат долго, молча смотрел на своего мертвого соотечественника. Все вокруг почтительно ждали, когда закончится траурная пауза. Нестерпимо пахло формалином. Было жарко. Жирные мухи носились под потолком и гудели, как реактивные самолеты. Дипломат выглядел растерянным. На лбу блестела испарина. Он стоял к Арсеньеву боком, и было видно, как за дымчатыми очками у него дергается правое веко. Он был не старый, чуть за пятьдесят, весь какой-то широкий, квадратный, с грубым тяжелым лицом и толстыми складками кожи на шее.

Ординатор в уголке с громким звоном уронил что-то на кафельный пол. Все вздрогнули. Майор Птичкин чихнул несколько раз подряд, так крепко, что брызнули слезы.

– Боже мой, бедный Томас, – пробормотал дипломат, – у него семья, трое детей. – Он вскинул глаза, беспомощно огляделся, уперся взглядом в лицо Арсеньева и еле слышно попросил: – Пожалуйста, расскажите мне, как все произошло? Мне сказали, что вы первый приехали на место преступления.

У дипломата был отличный русский, и несколько минут назад, в коридоре, он беседовал с офицерами ФСБ почти без акцента. Но почему-то вдруг обратился к Сане по-английски с такой уверенностью, словно русский милиционер, так же как покойник, был его соотечественником.

– Что именно вас интересует? – мягко уточнил Арсеньев и тут же засек на себе косые взгляды офицеров ФСБ. Им не понравилось, что милицейский майор так спокойно перешел на английский, словно каждый день общается с американскими дипломатами.

– Извините, майор, можно мне с вами побеседовать наедине? – спросил дипломат, глухо кашлянув, и обратился к остальным, по-русски: – Вы не возражаете, господа?

Офицеры переглянулись. Птичкин пошевелил усами. Американец благодарно кивнул и вывел Арсеньева в коридор. Там было прохладней и не так сильно воняло. На подоконнике сидел и курил полный мужчина лет сорока, в белых джинсах и алом свитере, с длинными волосами, зачесанными назад и собранными в хвостик. Рядом с ним лежал, завернутый в целлофан и перевязанный кудрявой ленточкой, букет из двух крупных роз, алой и белой.

– Доброе утро, мистер Ловуд, – он тяжело спрыгнул на пол, загасил сигарету и протянул руку для рукопожатия.

Однако американец как будто не заметил его руки, мрачно кивнул и не сказал ни слова. Толстяк с хвостиком обиженно хмыкнул, отошел на пару шагов, но тут же вернулся и обратился к Арсеньеву:

– Здравствуйте, майор. Меня зовут Феликс Нечаев, я заместитель Кравцовой Виктории Павловны. Мне позвонили, вот я приехал.

– Послушайте, господин Нечаев, – дипломат вздохнул и выразительно скривил рот, – я очень спешу, мне надо поговорить с майором наедине. Будьте так любезны, оставьте нас.

В ответ Феликс широко улыбнулся, показывая ровные белые зубы, поднял руки и на цыпочках попятился назад, повторяя громким шепотом:

– Ухожу, ухожу, ухожу!

Букет остался лежать на подоконнике. Пока бело-красная фигура не исчезла за дверью, ведущей к лестнице, Ловуд молчал, и лицо его сохраняло брезгливое недовольное выражение. И только когда в коридоре стало пусто, он, слегка тряхнув головой, тепло улыбнулся и протянул Арсеньеву руку:

– Меня зовут Стивен.

– Очень приятно. Александр.

Рукожатие Стивена было крепким до боли. Кисть широченная, влажная и холодная. Он смотрел на Арсеньева как на родного.

– Саша... Можно я буду вас так называть? Том находился в постели с этой женщиной? Это совершенно точно? – прошептал он, дохнув в лицо аптечным запахом леденцов с лакрицей.

– Да.

– То есть их убили одновременно? – Ловуд откашлялся, голос его звучал сипло, было видно, что говорить ему очень тяжело.

– Ну, в общем, да, – кивнул Саня, – сначала его, потом ее.

– Если я правильно понял, каждому досталось по одному выстрелу?

– Вы поняли правильно, мистер Ловуд.

– Ужасно...

Саня заметил, что по виску дипломата ползет капля пота. Он вообще был весь мокрый, но как будто не замечал этого, не доставал платок, чтобы вытереть лицо.

– Надеюсь, вы понимаете, что подробности убийства не должны просочиться в прессу? – сказал Ловуд и опять закашлялся. – Том был моим другом, я знаком с его женой. Ее зовут Дороти. Нет, я знаю, это зависит не только от вас. Возможно, это вообще от вас не зависит, но больше мне пока побеседовать не с кем. Офицеры ФСБ – люди специфические, их если попросишь о чем-то, они непременно сделают наоборот. Извините, я, может, глупости говорю, но вы должны понять мое состояние. Это ведь шок, настоящий шок, – голос его опять стал нормальным, он говорил быстро, Саня с трудом понимал его. – В посольстве почти пусто, мы пользуемся вашими праздниками как незапланированным уикендом, тем более такая чудесная погода, и вдруг этот ужасный звонок... Я, знаете, в первый момент ушам своим не поверил, никак не мог представить Томаса мертвым. По новостям Би-би-си уже прошла информация, но там никаких подробностей. Скажите, а эта женщина, она действительно была любовницей господина Рязанцева?

«Эй, милый, я не собираюсь играть в эти игры!» – тревожно заметил про себя Арсеньев и произнес с глупой улыбкой:

– Убитая Кравцова Виктория Павловна была руководителем пресс-службы парламентской фракции «Свобода выбора». А чьей она была любовницей, об этом лучше спросить у представителей спецслужб, наших и ваших.

– Красивая женщина, – вздохнул Стивен, – скажите, уже есть какие-нибудь предварительные версии? Это заказное убийство?

– Разбираемся, – сухо ответил Арсеньев.

– А кто конкретно разбирается? Лично вы войдете в группу, которая будет работать по убийству?

– Пока не знаю. Почему вы спрашиваете?

– Я три года в этой стране, – американец заговорил шепотом, так тихо, что Арсеньеву пришлось придвинуться к нему поближе, – если у вас убивают на заказ, то никогда не находят ни убийц, ни заказчиков. Это закон, такой постоянный, что вашим властям следовало бы внести его в конституцию. Поскольку Том Бриттен был моим другом, мне не безразлично, кто и как расследует убийство. Сейчас ведь начнется вранье, замалчивание фактов, ваши захотят представить Томаса шпионом, наши придумают какой-нибудь грязный ответный ход. И все забудут, что убит хороший человек, отец троих детей. Это я вам говорю не как официальное лицо, а лично от себя. Ваша физиономия внушает доверие. Вот моя визитка. Если вы примете участие в расследовании и вам понадобится помощь, я всегда к вашим услугам. – К концу монолога он был весь мокрый, даже глянцевая карточка, которую он протянул Сане, казалась влажной.

– Благодарю вас, мистер Ловуд. – Саня взял визитку, сочувственно улыбнулся.

– Да ну что вы, не стоит благодарности, – американец придвинулся совсем близко и произнес чуть слышно: – Главное, чтобы вы держали меня в курсе расследования, это очень для меня важно. Это не праздное любопытство, поверьте. Я потерял близкого друга, и если убийц не найдут, я буду чувствовать себя в долгу перед его памятью.

Арсеньев с детства терпеть не мог запах лакрицы. Вообще американец ему не нравился.

– Не все так плохо, мистер Ловуд. То есть, конечно, плохо. Вашего друга не вернешь, но убийц все-таки иногда находят, не только у вас в стране, но и у нас тоже.

Последовало крепкое прощальное рукопожатие, американец зашагал к лифту. Саня проводил его взглядом, украдкой вытер руку о штаны и вдруг, у самого уха, откуда-то из-за спины, услышал интимный шепот:

– Самое интересное, что об этом все знали и ждали скорой развязки.

– Не понял? – Саня нервно оглянулся и увидел красно-белого толстяка Нечаева.

– Все знали о роковом любовном треугольнике, – Феликс опять показал свои рекламные зубы. – Женщина – существо коварное и ненасытное, ей всегда мало, – он состроил комически серьезную гримасу и прижал ладонь к сердцу.

– Что вы этим хотите сказать? – хмуро спросил Арсеньев.

– Я хочу сказать все, что поможет вам в поисках преступника, – торжественно заявил Феликс, опять прижал ладонь к груди и скорчил рожу.

У него было странное лицо, мимические мышцы ни на секунду не расслаблялись, он все время гримасничал, двигал бровями, ртом, даже нос у него шевелился, не только вверх и вниз, но из стороны в сторону. Арсеньеву показалось, что он когда-то уже встречал эту подвижную физиономию. Он слегка напрягся, но ничего существенного не вспомнил, разве что игрушки, которые продавались в его детстве на ВДНХ, мягкие морды из пенистой резины, с дырками для пальцев с изнанки.

– Значит, вы заместитель Виктории Кравцовой? – уточнил Саня, принужденно кашлянув.

– Совершенно верно. И я весь к вашим услугам. Вы, наверное, желаете узнать, имелись ли у Виктории враги? Я вам отвечу: да, имелись. Ее врагом номер один была она сама, – последовала очередная резиновая гримаса.

Рыжие брови опустились так низко, что почти прикрыли глаза, рот вытянулся в трубочку, пухлые щеки втянулись.

– Вика была женщиной-вамп, то есть она хотела быть вамп, но многое мешало. Например, провинциальное детство, бедненькое, скучное. Как верно подметил гениальный Зигмунд Фрейд, человеку трудно преодолеть свое внутриутробное и младенческое подсознание.

В коридор вышли наконец фээсбэшники, Арсеньев вздохнул с облегчением.

– Здравствуйте, господа офицеры! – Феликс вытянулся по стойке смирно, выпятил пузо и прижал руки к толстым бокам. – Нечаев, заместитель убитой, к вашим услугам. Меня, как я понимаю, пригласили для опознания, – он взял с подоконника букет, аккуратно расправил целлофан и понюхал розы.

– А, да, пройдите, пожалуйста, – слегка поморщился майор Птичкин, приглашая заместителя в анатомический зал.

Арсеньев последовал за ними. Феликс медленно, торжественно приблизился к цинковому столу со своим букетом. Несколько минут он смотрел в мертвое лицо Кравцовой. Саня видел, как раздвинулись его губы в странном болезненном оскале, раздулись ноздри, поползли вниз, а потом вверх, рыжие брови.

– Вика, Вика! – произнес он громко, с какой-то вопросительной интонацией, словно окликал ее и надеялся, что она услышит.

Когда ему надо было расписаться на бланке, он выронил свои розы.

– Это вы ей цветочки принесли? – спросил ординатор, поднимая с пола букет.

– Ну не вам же! – хохотнул Феликс. – Вы банку найдите, поставьте в воду только не забудьте обрубить стебли наискосок и срезы обжечь. А в воду обязательно аспиричку добавьте, пару таблеток. Найдется у вас аспирин?

Наконец он удалился, и все отправились курить в ординаторскую.

– Ну, как поговорили с дипломатом? – с усмешкой спросил майор Птичкин.

- Ничего поговорили, – пожал плечами Арсеньев.
- И что он тебе предлагал?
- Дружить семьями.

\* \* \*

Съемка закончилась только в половине четвертого. Примерно час пришлось пить кофе с королевой и ее свитой. Королева потребовала вместо обычного сахара коричневый, низкокалорийный. Повариха поставила на стол еще одну сахарницу, и Рязанцев шепотом попросил ее принести телефон. Она кивнула и скрылась в кухне. Но тут Кругловой пришло в голову снять, как они пьют кофе.

– Не хватает более непринужденного, теплого разговора о вашей семье, – объяснила она, – и вообще все получилось как-то слишком формально, невкусно.

Не дожидаясь его согласия, свита взялась за работу. Грумерша причесала и напудрила сначала Круглова, потом Рязанцева. Операторы включили камеры.

– Как же вы познакомились с вашей женой?

– Мы учились на одном курсе, – начал он немного раздраженно, – послушайте, я ведь все рассказал.

– Евгений Николаевич, я понимаю, вы устали. Мы все устали. Но придется еще поработать, – произнесла она тоном терпеливой учительницы, которая объясняет простейшие вещи тупому ученику, – мы с самого начала условились, что без деталей не обойтись.

– Что же вы хотите услышать? – спросил он, рассеянно и безнадежно глядя на часы.

Ей хотелось услышать то, о чем ему было неприятно вспоминать. Он никому не рассказывал этого, но все знали, она, разумеется, тоже.

– Вы приехали из Саратова, поступили в Московский университет, на исторический факультет, – начала она задумчиво и тепло, словно собиралась погрузиться вместе с ним в милые сердцу воспоминания юности, – вы жили в общежитии, ночами подрабатывали, разгружали вагоны на товарной станции и, наверное, как все иногородние студенты мечтали жениться на москвичке...

– Или как все иногородние студентки выйти замуж за москвича, – продолжил он, глядя ей в глаза с вялой насмешкой.

У нее была очень похожая история. Она тоже никому не рассказывала, но все знали.

– Ну ладно, ладно, – она презрительно сморщилась, – я согласна, не стоит на этом акцентировать внимание. Давайте просто, о любви. Когда вы поняли, что влюблены в вашу жену?

– Почти сразу, как увидел ее, – привычно соврал Рязанцев и поискал глазами кого-нибудь из домашних, все равно, кухарку ли, начальника охраны. Но все, как нарочно, испарились.

– То есть это была любовь с первого взгляда, – подсказала Круглова. – Вы верите в такую любовь?

– Да, конечно. Как же мне не верить, если мы прожили вместе двадцать пять лет и не надоели друг другу?

– О, так в этом году вам предстоит праздновать серебряную свадьбу? – обрадовалась ведущая. – Ваша жена в честь такого знаменательного события должна прилететь из Италии.

– Лучше я сам к ней слетаю. Когда мы были молодыми и бедными, мы мечтали отпраздновать серебряную свадьбу в Венеции.

– Замечательная мечта. Очень красивая, – одобительно кивнула Круглова. – Вы верили, что она сбудется?

– Не знаю. Мы просто мечтали. Это было что-то вроде игры.

– Да, понятно. Так как же вы познакомились?

Он сразу переключился на автопилот. Слова полились сами собой. Он принялся рассказывать то, что повторял уже десятки раз. Во время зимней сессии он заболел, простудился, пришел на первый экзамен с температурой тридцать восемь, умудрился ответить и вышел из аудитории вялый, потный, ко всему безразличный, настолько, что даже не заглянул в зачетку. В коридоре стояла стайка девочек, они болтали, курили, он прошел мимо, шатаясь и ни на кого не глядя. Одна из них его окликнула, спросила, сдал ли он экзамен и что получил. Он ответил: не знаю, поплелся дальше, к раздевалке. Девочка догнала его, взяла из рук зачетку, сообщила, что у него «отлично», и тут заметила, как ужасно он выглядит.

– Что было дальше, я почти не помню. Галя отвела меня в медпункт, там измерили температуру, дали аспирину, сказали, что надо ехать домой и ложиться в постель. Галя поймала такси, повезла меня к себе домой. Ее родители в это время отдыхали где-то, квартира была пустая, и ей стало жалко везти меня, такого больного и несчастного, в общагу.

– А до этого вы обращали внимание друг на друга?

– Ну, постольку поскольку... Я смотрел на нее на лекциях и не решался подойти. Она такая красивая, неприступная, в нее было влюблено много мальчиков на нашем курсе.

– Вы боялись конкуренции? – Круглова едва заметно усмехнулась.

– До сих пор боюсь, – признался он и стал врать дальше, уже совершенно машинально. История его брака, когда-то выдуманная наспех, ради одного из первых интервью в жалкой желтой газетенке, и теперь заученная наизусть до оскомины, лилась сама собой, не требуя его участия.

Опомнился он, лишь когда остался один на веранде, и жадно закурил. После первой затяжки ему показалось, что вместе с королевой и ее свитой из дома исчезли все. В саду возбужденно щебетали птицы, солнечные блики плясали на стенах, густо слоился дым. Он так устал, что на несколько минут забыл даже о Вике, и просто сидел, сторбившись, прикрыв глаза.

Из глубины дома застучали шаги, вошла кухарка и принялась убирать со стола.

– Геннадий Егорович пошел провожать их до ворот, сейчас вернется, – сообщила она и отправилась с подносом в кухню, но в коридоре столкнулась с кем-то. Послышался грохот посуды и ее сердитый голос: – Ну куда вы, честное слово! Вас ведь просили, вам объясняли по-хорошему!

– Пропустите меня сейчас же! Не смейте ко мне прикасаться! Женя, Женечка, как ты себя чувствуешь?

Через минуту на веранду вбежала Света Лисова, всклокоченная, мокрая, дрожащая.

– Я так долго ждала, когда они уедут, мне сказали, что при них нельзя и ты ничего еще не знаешь. – Она плюхнулась на подлокотник его кресла. Дерево жалобно затрещало.

Толстая верная Светка Лисова присутствовала в его жизни двадцать пять лет, столько же, сколько его жена Галина, но, в отличие от жены, не создавала проблем, наоборот, помогала их решать по мере своих жалких возможностей. Она всегда находила себе подходящее место рядом с его семьей. Когда-то она работала в университетской библиотеке, училась заочно, дружила с Галиной, часто ночевала у них дома, была свидетельницей на их свадьбе, безотказно сидела с детьми, постепенно стала чем-то вроде няньки, приживалки, родственницы.

Она была болтлива, причем не просто, а пафосно болтлива. Она говорила о высоком, об искусстве, о философии, о судьбах человечества и, что самое ужасное, – о политике. Он давно устал от нее, но чувствовал себя обязанным и все пытался пристроить ее куда-нибудь, дать заработать. Несмотря на свой университетский диплом, Света Лисова ничего не умела. Единственное, что у нее получалось легко и ловко, – это уборка. Стоило ей оказаться в любом, самом загаженном пространстве, и через час все вокруг сверкало чистотой. Он бы взял ее к себе в домработницы, но держать в качестве прислуги женщину, которая так много говорит, называет тебя на «ты» и по имени, в его нынешнем положении было неудобно, и он нашел временный выход. Попросил ее помочь по хозяйству Вике.

– Я так спешила, так неслась и, конечно, опоздала на последнюю электричку, а потом двухчасовой перерыв, пришлось взять такси, к счастью, были деньги, – бормотала Лисова, всхлипывая и сморкаясь.

– В чем дело? – спросил он тревожно.

– Ох, Женечка, подожди, я не могу, дай отдышаться... сейчас... Такой ужас, такой шок... не представляешь, что мне пришлось пережить...

Влетел Егорыч, тоже мокрый, красный. Телефон болтался у него на запястье и играл «Лав стори». Рязанцев уже понял: что-то произошло необычайное, трагическое. Сердце стремительно подпрыгнуло к горлу и медленно, гулко покатилося вниз. Вот сейчас Светкины смутные всхлипы оформятся, приобретут смысл, и в них ясно проступит скрежет жизненной оси. Судьба повернется, ветер переменится.

– Слава богу, все произошло мгновенно, она совсем не мучалась, – услышал он сквозь оглушительный птичий щебет и с горьким облегчением признался себе, как давно ждал этого.

Дело в том, что жена его, Галина Дмитриевна, находилась вовсе не в Италии, она уже полгода лежала в маленькой, очень дорогой и закрытой психиатрической клинике, совсем недалеко отсюда, всего в пяти километрах от дома, в деревне Язвищи.

Об этом знали только самые близкие. Это никогда не обсуждалось, даже шепотом. В разговорах о жене поминали только Италию, Венецию, школу изящных искусств, и ни у кого такой словесный маскарад не вызывал улыбки. Диагноз был путаным и безнадежным. Мощные психотропные препараты подтачивали здоровье.

– Мужайся, Женя, – страшным шепотом произнесла Лисова, – сегодня утром...

– Замолчите вы, я сам! – закричал на нее Егорыч.

– Но я хотела только подготовить, нельзя же сразу, – забормотала Светка, – я знаю вас, вы все выпалите, не думая о последствиях, – она шагнула к Рязанцеву, который уже не сидел, а стоял, опираясь рукой на спинку кресла. – Женечка, послушай меня, только очень спокойно...

– Молчать! – рявкнул Егорыч и втиснулся между нею и Рязанцевым. – Еще слово, и уйдешь отсюда, поняла?

Светлана Анатольевна покорно кивнула, рухнула в кресло и уставилась на Рязанцева красными мокрыми глазами. Егорыч выключил телефон и заговорил спокойно, по-деловому, дыша ему в лицо чесноком:

– Значит, так. Вику убили. Застрелили сегодня ночью, прямо в постели. Насчет прессы я позаботился. Пока тишина, главное, чтобы никто из наших не проболтался. Сейчас надо ехать в морг на опознание. Переодеваться будете?

## Глава шестая

Ночами вокруг Андрея Евгеньевича Григорьева сгущалась совершенно мертвая тишина. Он откладывал книгу, гасил свет и, зажмурившись, нырял в бессонницу. Она наполнялась мучительными призраками.

Его уникальная память была чем-то вроде закодированной энциклопедии, в которой хранились сотни имен, дат, фактов. Бессонными ночами это кошмарное сокровище оживало, шевелилось. Он видел лица, слышал голоса. Прошлое причудливо переплеталось с настоящим, живые логические нити соединяли несоединимое.

В отличие от многих бывших коллег, Андрей Евгеньевич не кокетничал даже с самим собой. Еще в юности он знал, чего хочет от жизни и сколько это может стоить. Он пошел служить в КГБ вовсе не из любви к социалистической родине и не ради веры в светлые идеалы коммунизма. В основе его выбора лежала глубокая брезгливость к системе, к тому, что имевалось советским образом жизни. Служба в органах давала возможность вполне легально обеспечить себе совсем другой, совсем не советский образ жизни.

На самом деле не было ббльших антисоветчиков, чем сотрудники КГБ. На их фоне любой махровый диссидент – наивное дитя. Диссиденты рисковали головой, чтобы изменить систему. Сотрудники органов просто брали и меняли ее – лично для себя и для своих семей, причем без всякого риска, вполне легально. Они ели, одевались, работали и отдыхали не так, как все прочее советское население, а иначе, гораздо лучше. Конечно, такое счастье давалось не даром, не только за чистые руки, горячее сердце и холодную голову.

Внутри системы жилось трудно. Все на всех стучали, и следовало всегда, днем и ночью, оставаться начеку. Предательство являлось общепринятой нормой и называлось бдительностью. Любой офицер мог ради карьерного роста, для подстраховки, просто из зависти, подставить своего ближайшего коллегу, стукнуть начальству обо всем, от стакана виски, выпитого после рабочего дня, до любовной интрижки вне семьи.

Григорьев почти не пил, свою первую жену любил и за восемь лет совместной жизни ни разу ей не изменил.

Он женился сравнительно поздно, выбирал, оценивал, боялся ошибиться. Одна была красивой, но глупой. Другая наоборот. Третья так сильно хотела замуж, что это отпугивало. Четвертая казалась слишком независимой и энергичной для тихого семейного счастья. Пятую звали Катя. Рядом с ней все прочие вдруг стали бесформенными, бесполоыми и просто никакими.

Тоненькая, белокурая, с прозрачной кожей и ясными голубыми глазами, она была такой нежной и трогательной, что сразу возникало желание ее защитить. Она действительно нуждалась в защите. Еще в детстве, когда ее спрашивали, кем она хочет стать, она отвечала: «Катенька не будет работать ни под каким видом. Катенька будет просто красивая».

Он влюбился так страстно, что готов был на ней жениться, даже если бы кто-нибудь из ее близких родственников вдруг оказался диссидентом, уголовником или евреем. Но повезло. Анкетные данные сероглазой феи были безупречны, как и все в ней.

Ясным майским вечером 1971 года, на лавочке на Тверском бульваре, после просмотра в кинотеатре «Повторного фильма» французской комедии «Разиня», фея в ответ на серьезное предложение Григорьева сказала свое нежное «да».

Андрей Евгеньевич был контрразведчиком. Он знал английский как родной, свободно говорил по-испански и на всякий случай выучил венгерский. Его давно собирались послать за границу, сначала в соцстрану, на Кубу или в Венгрию. Единственным препятствием оставалось то, что он холостяк.

Через полгода капитан Григорьев вместе с молодой женой отправился в свою первую заграничную командировку в Венгрию. Еще через полгода, в Будапеште, у них родилась дочь Маша. Венгрия была самой «несоциалистической» из всех стран Варшавского договора. Пока Григорьев аккуратно и добросовестно вербовал агентуру в журналистской среде, писал подробные отчеты для начальства, Катя с красивой колясочкой ходила по магазинам, почти настоящим, почти западным. После московского гастрономического и промтоварного убожества будапештское изобилие пьянило ее, она постоянно пребывала в радостном возбуждении, пела по утрам в душе, вечерами, встречая мужа после работы, с детским визгом бросалась к нему на шею, рассказывала, где сегодня была и что купила.

Полтора года в Венгрии пролетели как один день. Семейство Григорьевых вернулось в Москву с чемоданами импортного добра и надеждами на следующую командировку, уже в настоящую границу, в Испанию, а может, даже в США.

Маша росла здоровым, жизнерадостным, но немного странным ребенком. Она унаследовала внешность мамы и характер отца. С ней не было проблем. Даже в младенчестве она почти не плакала, зато много улыбалась, гримасничала, и Григорьев мог бесконечно наблюдать за ее подвижным личиком. Казалось, там внутри у нее происходит постоянная напряженная мыслительная работа. Было странно и жутковато представить, как может такая кроха вмещать в себя огромный мир.

В трехлетнем возрасте, обнаружив под новогодней елкой коробку с пластмассовым пупсом, она захлопала в ладоши, искренне поддержала бабушкину историю про Деда Мороза, а вечером, когда Григорьев укладывал ее спать, сообщила ему шепотом, что «на самом деле куклу купили в «Детском мире», и напрасно, лучше бы потратили денежку на коньки «гаги». Андрей Евгеньевич с изумлением понял, что его трехлетний ребенок не верит общепринятым сказкам и умеет скрывать свои чувства. Он не знал, радоваться или пугаться.

В пять она разобрала на детали радиоприемник. Ей хотелось вытащить и рассмотреть маленьких человечков, которые там внутри разговаривают, поют и играют на музыкальных инструментах. В шесть сконструировала из деревяшек, гвоздей, пружинки от шариковых ручек и аптечных резинок пистолет-рогатку, стрелявший крючками из проволоки. Провозилась почти месяц, постреляла в воздух и тут же охладела к своему творению, потребовала купить десять моторчиков в магазине «Пионер» на улице Горького, батарейки, паяльник, достать где-нибудь тонкое листовое железо и специальные ножницы. Когда ее спросили зачем, она развернула несколько листов миллиметровки, исчерченные карандашом, и объяснила, что сконструировала робота, который будет ходить и размахивать руками. Ничего из этой затеи не вышло. Листовое железо достать не удалось. Но Маша ни капельки не огорчилась. Ей как раз исполнилось семь, и пора было готовиться к школе.

Григорьев помнил каждую подробность ее дошкольного детства потому, что именно в 1979-м, когда Маша пошла в первый класс, они развелись с Катей, и дочь он стал видеть редко.

Катя не работала и была «просто красивой». Оказавшись на родине, она скинула Машу в хорошие ведомственные ясли, потом в такой же детсад и, коротая ожидание настоящей заграничной жизни, принялась порхать, как положено фее. Порхала она по комиссиям, по фарцовщикам, по каким-то бесчисленным «гостям», по квартирам и дачам, где собирались все те же фарцовщики, продавцы комиссионки, модные парикмахеры, косметологи, стоматологи, администраторы гостиниц и концертных залов, сотрудники «Интуриста», экстрасенсы и хироманты. Это была публика солидная, важная, идеологически надежная, тесно связанная с КГБ. И все бы ничего, но Катя не могла появляться в таком престижном кругу в одном и том же брючном костюме дважды. Каратность и чистота камней в ее сережках и колечках была недопустимо низкой. Трех пар итальянских сапог на одну зиму явно не хватало. А всего одна норковая шубка, даже при наличии канадской дубленки, выдавала беспросветную нищету. Григорьев не оправдал ее доверия, он слишком медленно воплощал в жизнь ее высокие стремления

и прекрасные мечты. Ей хотелось не «жигуль», а «Волгу», не двухкомнатную квартиру, а хотя бы пятикомнатную, ей хотелось покупать себе одежду не у фарцовщиков и подружек, вернувшихся из-за границы, а непосредственно в Нью-Йорке, на Пятой авеню, в бутиках Версаче и Диора.

Андрей Евгеньевич пытался ее утешить, объяснить, что и так очень старается, но не может прыгнуть выше головы. Все будет, но чуть позже. Катя не утешалась. Она не могла ждать, жизнь слишком коротка, молодость и красота мимолетны. Она хотела прямо сейчас, ужасно расстраивалась, плакала, кричала, хлопала дверьми, а потом не разговаривала с мужем неделями.

Маленькая Маша, если присутствовала при этих сценах, вела себя тихо и дипломатично. Погладив по головке рыдающую маму, сочувственно всхлипнув в ответ на ее отчаянные признания, что «папа нас с тобой совсем не любит», она не возражала, но при первой возможности незаметно ускользала к папе и шепотом, на ушко, принималась рассказывать ему что-нибудь интересное из своей бурной детсадовской жизни. Папу она никогда не утешала и сама ни разу не заплакала во время родительских ссор. Григорьева пугала Машина железная, недетская выдержка.

Но значительно больше пугало его таинственное превращение Кати, нежной феи, в грубую ведьму, Катеньки, невесомой бабочки, в прожорливую гусеницу. Ему все чаще снился один и тот же кошмар, будто вместо головы у него кочан капусты. Быстрые челюсти гигантского насекомого деловито пережевывают листья, один за другим, в результате чего остается маленькая мертвая кочерыжка. Он просыпался среди ночи и первые несколько минут спросонья продолжал слышать влажный размеренный хруст и чувствовать щекотку в мозгу, такую сильную, что хотелось вскрыть себе череп и там, внутри, почесать.

Впрочем, Андрей Евгеньевич по природе был оптимистом, всегда верил в лучшее. В советском посольстве в Вашингтоне как раз открылась вакансия. Судя по одобрительным замечаниям начальства и резко возросшей бдительности сослуживцев, терпеть отечественное убожество осталось совсем недолго.

Августовским вечером, теплым и дождливым, после долгожданного разговора с начальством, он несясь домой как на крыльях раньше обычного и повторял про себя фразу, которую произнесет, переступив порог: «Все, Катюша, собирай чемоданы. Мы летим в Вашингтон!» Он представлял себе, как она со счастливым визгом кинется к нему на шею, забыв об очередном недельном бойкоте. Гусеница опять станет нежной легкой бабочкой, ведьма превратится в фею и не отправит его спать на диван в Машину комнату с обычной ноющей присказкой: «Отстань, убери свои лапы, я устала». А завтра утром они поедут на станцию Катуар и заберут Машу с детсадовской дачи. Ребенок будет счастлив, что забрали на неделю раньше. В школу она пойдет уже в Вашингтоне. Говорят, там при советском посольстве отличная школа.

Дверь квартиры почему-то не открывалась. Он не сразу понял, что изнутри торчит ключ. Григорьев позвонил, подождал, потом принялся стучать и трезвонить. Наконец послышались шаги, кто-то прильнул к глазку.

– Катя! – позвал он нерешительно.

Ответа не последовало.

«Воры? – подумал он и нервно усмехнулся. – Позвонить к соседям, попросить, чтобы вызвали милицию. С двери глаз не спускать, чтобы не успели смыться!»

Он уже шагнул и протянул руку к кнопке соседского звонка, но тут дверь открылась. Его жена стояла на пороге в стеганом шелковом халате и поправляла растрепанные светлые волосы. В полумраке прихожей глаза ее странно светились и дрожали, словно светлячки ночью в южном городе.

– Ты почему так рано? – спросила она, искусственно зевнув и прикрыв рот ладошкой. – Я прилегла почитать и задремала, звонка не слышала.

Григорьев включил свет, и суетливые южные светлячки исчезли. На него смотрели голубые глаза его жены, большие, ясные, обведенные темно-русыми ненакрашенными ресницами, смотрели так, словно он был тараканом. Тараканов она ненавидела и боялась больше всего на свете.

– Катюша, что-нибудь случилось? – спросил он с глупой улыбкой, уже понимая, что да, случилось, но не желая верить. Ему хотелось растянуть последние секунды спокойной радости, которая на крыльях принесла его домой в неурочное время.

Из спальни послышался шорох, тактичное покашливание.

– Да, случилось, и уже давно! – выкрикнула Катя так резко, что Григорьев вздрогнул. – Сколько можно, в конце концов? Володя, иди сюда!

Из гостиной вышел мужчина, высокий, рыхлый, немолодой и смутно знакомый. Он был в костюме и даже при галстукe, но петля не затянута. На ходу он заправлял рубашку в брюки.

– Добрый вечер, – произнес он хорошо поставленным баритоном, – предупреждаю, если вы меня ударите, у вас будут большие неприятности.

И тут Григорьев окончательно узнал его. Народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии, и еще кучи каких-то премий. В кино играет партийных руководителей и председателей колхозов. Открывает торжественные концерты в честь главных советских праздников чтением стихов о Ленине. Может, действительно, стоило бы врезать артисту, пока он шнурует свои импортные ботинки? Или хотя бы сказать что-то жесткое, мужское, чтобы потом не чувствовать себя идиотом?

Пока Григорьев соображал, как поступают в таких случаях не идиоты, а настоящие мужчины, народный успел завязать оба шнурка, распрямился, громко хрустнув суставами, и шагнул к двери.

– Володя, подожди, я с тобой! – взвизгнула Катя.

– Не волнуйся, малыш, я подожду тебя в машине, – успокоил ее лауреат, аккуратно обошел застывшего Григорьева и выскользнул за дверь.

Катя последовала за ним буквально через три минуты, натянув на себя какое-то платье и прихватив сумку. Григорьев даже не пытался говорить с ней. На него напало странное оцепенение, какое-то тупое безразличие. Это был шок, первый и последний в его жизни. Что бы ни происходило потом, в течение долгих последующих лет, он вел себя иначе. Иногда правильно, иногда неправильно, но в ступор больше не впадал ни разу.

Судебное заседание, на котором их развели, было тихим, быстрым и закрытым. Григорьев попытался отвоевать ребенка, но ничего не вышло. Катя вместе с Машей переехала к артисту и вывезла из квартиры все, даже шторы были сняты и дверные ручки отвинчены. Остался только телефонный аппарат, и первый звонок, прозвучавший в гулкой тишине, был Машин.

Командировка в Вашингтон сорвалась. Послали другого офицера. В КГБ разводы приравнивались к должностным преступлениям, и после них приходилось «остывать», восстанавливать испорченный моральный облик.

С Машей они виделись редко, но каждый день разговаривали по телефону. То есть сначала каждый день, потом раз в неделю, потом раз в месяц.

## Глава седьмая

Саня Арсеньев надеялся, что после визита сотрудника посольства его отпустят, наконец, домой. Но нет. Ждали приезда Евгения Рязанцева, распоряжений начальства и вообще какой-нибудь определенности. Из-за праздников никого нельзя было разыскать. У морга дежурили съемочные группы нескольких новостийных программ. Надо было что-то сказать им, но никаких конкретных приказов сверху пока не поступало, а импровизировать не решался даже майор Птичкин.

Драгоценное время утекало сквозь пальцы. Вместо обещанного профессора судебной медицины с трупами работал ординатор Гера Масюнин, старый знакомый майора Арсеньева, маленький, коренастый, разговорчивый. Он был отличным специалистом, относился к своей печальной работе творчески, иногда даже слишком творчески, и любил выпить, а выпив, начинал замечать то, чего нет, фантазировать, строить собственные оригинальные версии.

Когда Гера вышел покурить, Арсеньев от нечего делать спросил его, действительно ли женщина жила на час дольше.

– Жила. И хорошо жила.

– То есть?

– Не мучалась, – Масюнин загадочно улыбнулся, демонстрируя дырку на месте верхнего клыка, – даже наоборот, получала удовольствие.

На миг Арсеньеву показалось, что он беседует с сумасшедшим. Он знал, как легко и быстро вырабатывается у судебных медиков профессиональный цинизм, иммунитет к чужой насильственной смерти, как жутко звучат их загробные шуточки, и все-таки это было слишком. Красные от бессонницы глаза Геры сверкали совершенно безумным огнем.

– Ее трахнули, – пояснил он и облизнулся.

– Кто? Убийца? – растерянно моргнул Арсеньев.

– Ну не убитый же! – ординатор тихо хрипло захихикал. – Перед смертью ее употребил убийца, и она не сопротивлялась. А знаешь почему?

– Надеялась, что не убьет, – неуверенно предположил Арсеньев.

– Может, и надеялась, – кивнул эксперт, – однако вряд ли. Пойдем, кой-чего покажу.

Майор вяло побрел за Герой. Ему вовсе не хотелось возвращаться в анатомический зал и в который раз глядеть на трупы.

– Сначала скажи, ты сам ничего не замечаешь? – Гера таинственно улыбнулся и показал глазами на лицо покойницы.

– Нет, – пожал плечами Арсеньев, – вроде ничего особенного.

– Ты, Александр Юрьевич, банально мыслишь, – вздохнул Гера, – ты сразу ищешь следы побоев, ссадины, царапины, а на другое внимания не обращаешь. Ну давай, майор, на счет три, что не так в этом трупешнике?

– Все не так. Все. Это не старуха девяноста лет, мирно почившая в окружении любящих внуков и правнуков, а молодая здоровая женщина, убитая какой-то нелюдью. Ей бы еще жить и жить, детишек рожать, – проворчал Арсеньев.

– Фу-у, чрезвычайно банально мыслишь, товарищ майор, – Гера скорчил презрительную рожу и довольно точно просвистел первые аккорды траурного марша Шопена, – и как ты существуешь с таким доисторическим взглядом на мир? Легкости тебе не хватает, жизненного задора, здорового эгоизма, сарказма и пофигизма.

– У нее губы накрашены! – не слушая его, удивленно выпалил Арсеньев.

– Разглядел, наконец. Поздравляю, – хмыкнул Гена, – и знаешь, что самое интересное? Смотри, – он взял огромную лупу и поднес ее к губам женщины, – видишь, кожа вокруг рта содрана, совсем немного, только верхний слой, и ровненько, как по линейке.

– То есть он ей заклеил рот куском лейкопластыря?

– Молодец, соображаешь. Даже осталась пара прилипших волокон. Обычный лейкопластырь, продается в каждой аптеке. Теперь смотри сюда, – он взял руку убитой, приблизил лупу к запястью. – Видишь, тоненькие волоски, нежный золотистый пушок. А здесь опять же все содрано, как по линейке. И на левой руке то же самое.

– Он замотал ей руки?

– Ага.

Арсеньев тихо присвистнул.

– Не свисти! – строго сказал Гера. – Денег не будет. Ты теперь видишь, кто он такой? Ты видишь или нет? Он псих, – Гера перешел на шепот и приблизил к Арсеньеву лицо: – Зачем он приклеивал пластырь, я понимаю. Но зачем потом сдирал? Для чего после этого аккуратно нарисовал ей губы ярко-красной помадой, такой стойкой, что не стерлась, не размазалась, когда он перевернул ее мордой в подушку? И на фига ему понадобилось дырявить ей башку, когда она была уже мертвая?

От Геры легко, почти неуловимо, несло перегаром. Он, также как Арсеньев, отдежурил ночь, но, в отличие от непьющего майора, выпил для бодрости.

– погоди, как мертвая? – Арсеньев нервно дернул головой.

– А вот так. Он ведь придушил ее. Он просто зажал ей нос. Двумя пальцами. Если у человека рот заклеен, этого вполне достаточно. Знаешь, у меня трупешник один был, примерно год назад. Тоже девушка, правда не такая красивая. Представляешь, блин, супружеская пара баловалась садистской любовью. Насмотрелись черной порнушки, и вперед. А у нее хронический синусит. Проще говоря, насморк. Он ей кожаный намордник надел, который полностью закрывает рот, а капли в нос закапать забыл и так увлекся, что не заметил, как дорогая супруга задохнулась на хрен. Обтурационная асфиксия. – Эксперт тихо засмеялся. Смех у него был странный, резкий, на пронзительно высокой ноте. – Сто девятуго получил, причинение смерти по неосторожности. Три года. Адвокат был толковый.

– погоди, – поморщился Арсеньев, – значит получается, убийца сначала застрелил мужчину, потом занялся женщиной. Заклеил ей рот, замотал руки, изнасиловал, придушил, просто зажав нос двумя пальцами, потом аккуратно отодрал все пластыри, нарисовал губы особо стойкой помадой, перевернул лицом вниз и на прощанье выстрелил в затылок?

– Именно так все и было. Я ж говорю, псих, – эксперт со звоном распахнул стеклянные дверцы шкафа, достал литровую толстобокую бутылку с узким горлом, вытащил резиновую пробку. Запахло спиртом.

– Тебе налить?

– Нет, спасибо.

– Ну как хочешь, – он плеснул себе в какую-то мутную мензурку, выпил залпом, занюхал рукавом халата, – твое здоровье, майор. Классные феньки, правда? Только ты никому не рассказывай.

– Что значит – не рассказывать? – удивился Арсеньев. – Ты же все равно должен писать протокол.

Гера налил еще спирту, выпил, на этот раз уже не предлагая майору и не занюхивая.

– А вот в протокол я это вносить не буду, поскольку насчет протокола мне даны всякие особые указания, – быстро, еле слышно пробормотал он, и лицо его вдруг стало серьезным, задумчивым, он громко рыгнул.

– Какие указания, Гера?

– Как это какие? Руководящие! – Он опять рыгнул, достал из кармана халата горсть черных сухариков, протянул Арсеньеву: – Хочешь?

– Нет, спасибо.

– Ну и зря, – он запрокинул голову, ссыпал сухарики в рот и захрустел, печально глядя в окно.

– Гера, ты можешь мне толком объяснить, в чем дело? Почему ты не станешь вносить в протокол то, что показал мне? Или ты опять фантазируешь? – тихо спросил Арсеньев.

От возмущения Гера поперхнулся, закашлялся, покраснел, из глаз потекли слезы, пришлось несколько раз хлопнуть его по спине.

– Эх, Саня, – произнес он наконец и взглянул на Арсеньева полными слез глазами, – я с тобой как с человеком, а ты... Ну ты же видел все сам, разве нет? Скажи, видел?

– Допустим. Но всему этому можно найти и другие объяснения.

– Какие, например?

– Ну, не знаю, мало ли, сколько существует всяких косметических процедур? Может, эти следы на лице и руках убитой связаны с какими-нибудь там специальными масками или аллергией? А губы кажутся накрашенными из-за татуировки. Есть такие специальные татуировки, когда краска водится под кожу...

– Вот ты сам и ответил на свой вопрос, Александр Юрьевич, – тяжело вздохнул эксперт, – в нашей работе бывают случаи очевидные, как, например, дырка от пули, рубец от удавки, а бывают такие, для которых объяснений можно подобрать до фига и больше. Но ты запомни, Саня, изнасилование было. Есть характерные ссадины на внутренней стороне бедер. Есть растяжение сухожилий. И выстрелил он в нее уже мертвую. И помада нанесена посмертно. Это я тебе как специалист заявляю. А что касается остального, понимай как хочешь, вернее, как начальство повелит. Ну, что ты на меня так вылупился? Я, конечно, выпил, но не много, и дело совсем в другом. Просто этих двоих совсем не вовремя замочили. И как-то не по-человечески. Нет, штатника нормально кончили, не спорю. А вот девушку-красавицу... Больно уж много с ней делали всяких интересных фенек. Ладно, майор, все, проехали. В общем, ты меня понял.

– Не совсем.

– Ага. И я не совсем, – ординатор тихо захихикал, – но феньки классные, скажи?

– Конечно, Гера, классные, но ты, может, объяснишь, почему не хочешь вносить в протокол изнасилование, посмертный выстрел и помаду? – тихо спросил Арсеньев, когда они вышли в коридор.

– Потому! – истерическим шепотом выкрикнул Гера и добавил уже спокойней: – Дай сигаретку, а?

Арсеньев протянул ему пачку. Гера вытащил сразу три, но закуривать не стал, кинул в карман халата и побрел по коридору, не оглядываясь. Саня видел, как путь ему преградил майор Птичкин. За это время он успел исчезнуть и теперь вернулся. Несколько минут они говорили о чем-то. Затем разошлись в разные стороны. Ординатор поплелся назад, к трупам, а Птичкин твердым шагом направился прямо к Арсеньеву.

– Значит так, майор, – произнес он, усаживаясь рядом на подоконник, – сейчас сюда приедет лидер думской фракции господин Рязанцев, и говорить с ним придется вам.

– Почему мне?

– Потому, что вы первым оказались на месте преступления. Потому, что мое руководство связалось с вашим, и у нас тут получается объединенная оперативная группа. Работаем в обстановке строжайшей секретности. О том, что убит американец, а главное, где он убит, Рязанцев пока знать не должен. Вы все поняли, майор?

– Не совсем. Что именно я должен ему сказать?

Птичкин презрительно пошевелил усами и громким шепотом, почти по слогам, произнес:

– Вы просто скажете, что она лежала в постели. Одна.

Арсеньев затосковал так сильно, что у него заболел живот. До него дошло, наконец, почему в коротком телефонном разговоре так орал дежурный по отделу полковник, почему

приказано было отправить домой Генку Остапчука, а ему, Арсеньеву, велели остаться, и почему майор Птичкин сменил небрежное «ты» на отстраненное, официальное «вы».

Дипломат прав. Это двойное убийство обречено зависнуть.

Арсеньев плохо разбирался в политике, но телевизор иногда смотрел и знал, что все оппозиционные думские фракции подозреваются в связях с западными спецслужбами, с одной стороны, и с отечественными бандитами – с другой. Скорее всего, Томас Бриттен по совместительству был агентом ЦРУ. У любого спецслужбиста голова закружится от количества и качества предварительных версий. Главное, вовремя выбрать самую выгодную, самую далекую от истины, замазать уголовное преступление блестящим вонючим лаком политического скандала и преподнести начальству в качестве драгоценного сувенира. Но при такой рискованной игре нужен козел отпущения. Всем удобней, если это будет милиционер, а не фээсбэшник и не сотрудник прокуратуры. Старший лейтенант Остапчук не подходит. А он, майор Арсеньев, вполне. Чин выше, язык покороче, физиономия внушает доверие.

– А как же этот Феликс, ее заместитель? – спросил Арсеньев, наблюдая сквозь решетку окна за кошкой, которая вскарабкалась на толстую липу, застыла на ветке, прямо напротив открытой форточки, и смотрела на Арсеньева длинными ярко-голубыми глазами. Она была такая белая, что казалась новенькой игрушкой или призраком, куском облака.

– Какой Феликс? А, Нечаев, этот шут гороховый? Он-то здесь при чем?

– Ну, не знаю, – пожал плечами Арсеньев, – он не похож на человека, который в состоянии что-либо хранить в тайне. Ему предстоит общаться с прессой, он знает о Бриттене.

– Пусть вас это не беспокоит. С ним уже побеседовали, – Птичкин выразительно шевельнул усами и кивнул на кошку за окном, – надо же, какая белая, наверное домашняя.

Загремели двери лифта, и коридор наполнился шагами, голосами. Человек, который шел во главе процессии, был таким знаменитым, что от усталости Арсеньеву показалось, будто по коридору несут включенный телевизор.

\* \* \*

Стивен Ловуд сидел на лавочке в сквере и маленькими глотками пил минеральную воду из пластиковой бутылки. Он был таким мокрым, словно только что попал под дождь. В портфеле назойливо, тоскливо заливался мобильный. Он поставил бутылку, долго не мог открыть портфель, потом еще несколько минут искал телефон. Когда он, наконец, произнес по-русски «слушаю вас», голос его предательски сел, дальше он мог говорить только шепотом.

– Вы просили позвонить, – сказали в трубке.

– Да, – Ловуд попытался прокашляться, глотнул еще воды, но в горле так першило, что говорить нормально он не мог и невнятно прохрипел: – Надо срочно встретиться.

– А что случилось? – невозмутимо поинтересовался его собеседник.

– Это я у вас хотел спросить, что случилось, – с трудом выдавил Ловуд, – но разговор не телефонный.

– Хорошо. Когда и где?

– Через час, на том же месте.

– Ладно, я понял.

– Прошу не опаздывать, у меня мало времени, – просипел Ловуд, отключил телефон, залпом допил воду, отыскал в портфеле пачку бумажных платков, снял и протер запотевшие очки, осторожно промокнул лицо и шею.

Свой серебристый новенький «Форд» он оставил в двух кварталах от сквера. Солнце палило нещадно, и лицо опять стало мокрым, очки запотели. Покалывало сердце, это, пожалуй, было самым неприятным. Он вполне сносно держался в морге, толково и правильно поговорил с милицейским майором. Сейчас предстоял еще более ответственный разговор.

Он ласково убеждал себя успокоиться и не преувеличивать. Человек, с которым он должен был встретиться через час в тихом уютном дворе на улице Ямского Поля, неподалеку от начала Ленинградского проспекта, всего лишь бандит. Обыкновенный российский бандит. У него много гонора и мало серого вещества. Главное – сохранять спокойствие и соблюдать дистанцию.

Когда он переходил дорогу, рядом оглушительно просигналили, послышался дикий визг тормозов. Белый сверкающий джип успел остановиться в нескольких сантиметрах от Ловуда. Из открытого окна высунулась рыжеволосая девушка в черных очках:

– Вы что, с ума сошли?! Если больной или пьяный, дома надо сидеть! – Она несколько раз нервно просигналила и помчалась дальше.

Ловуд шарахнулся к тротуару и чуть не наступил на голубя, расплющенного шинами по асфальту.

«Боже, как я поведу машину в таком состоянии?» – повторял он про себя, пока шел по тихому переулку.

Салон «Форда» прогрелся, как баня. Ловуд включил кондиционер, несколько минут сидел, промокал пот, протирал очки. Достал из бардачка упаковку лакричных пастилок, вытряхнул на ладонь сразу три штуки и кинул в рот.

В салоне стало прохладней. Ловуд медленно жевал пастилки, поглядывал на секундную стрелку и считал собственный пульс. Сначала было сто десять ударов в минуту, потом девяносто. Когда пульс выровнялся и дошел до семидесяти ударов, «Форд» тронулся в путь и через полчаса благополучно доехал до улицы Ямского Поля.

## Глава восьмая

В 1980-м, через год после развода, Андрей Евгеньевич Григорьев женился на своей бывшей преподавательнице венгерского языка. Ее звали Клара. Они как-то встретились случайно на улице, Клара пригласила его в гости, оказалось, что она совершенно одинока и он давно ей нравился. Она была старше его на два года и выше на пять сантиметров. Отношения у них сложились ровные, дружеские. Она заранее предупредила его, что детей иметь не может. Начальство одобрило его выбор, и еще через год, в восемьдесят первом, его наконец отправили в Вашингтон.

Клара состояла из одних только достоинств. Никаких минусов, бесконечное количество плюсов, и в воображении Григорьева рождалась странная ассоциация с военным кладбищем. Множество безымянных могил, обозначенных ровными рядами одинаковых крестиков.

Вашингтонская казенная квартира сияла чистотой. Клара обходилась без прислуги, вела хозяйство опрятно и экономно, отлично готовила, одевалась скромно, но со вкусом, никогда не повышала голоса, не предъявляла претензий. Григорьев надеялся, что ее большое правильное лицо с круглыми тонкими бровями и мягким подвижным ртом постепенно станет для него хотя бы милым. Григорьев искренне верил, что сумеет однажды обрадоваться, увидев на пороге квартиры, в проходе супермаркета, в аллее парка, ее широкую, надежную, аккуратную фигуру. Но всякий раз в первое мгновение не узнавал ее, а расставшись, тут же забывал, как она выглядит.

Впрочем, им обоим было удобно и неумолимо сосуществовать под одной крышей и даже под одним одеялом. Клару взяли на работу в посольство, она занималась прослушиванием телефонных разговоров, работала добросовестно, уставала, Григорьев тоже уставал, и это служило постоянной темой для беседы на первые полчаса вечером дома за ужином.

Ничто не отвлекало Григорьева от карьерного роста, и он рос в свое удовольствие.

В 1982 году ему было сорок три. Он имел чин полковника КГБ и работал в посольстве СССР в Вашингтоне. Официально он числился «чистым» дипломатом, первым заместителем пресс-атташе. На самом деле являлся помощником резидента по работе со средствами массовой информации.

Для КГБ главным показателем ценности контрразведчика было количество завербованных им агентов. Григорьев с успехом пополнял свой послужной список так называемыми агентами идеологического влияния. Приглашая в ресторан какого-нибудь художника-авангардиста, он болтал с ним о всякой ерунде, а потом писал длинные подробные докладные, в которых рассказывал о том, что в результате умелой обработки оный художник теперь является надежным агентом влияния. Его непонятная мазня выражает протест против враждебных простому человеку буржуазных ценностей. То же самое происходило и с писателями, авторами кровавых боевиков и триллеров, которые в григорьевских докладных преобразались в настоящих советских диверсантов, наученных им, Григорьевым, подрывать вражескую идеологию изнутри, разоблачать гнилую антигуманную сущность капиталистической системы. Имелись в его резерве фотографии, снимавшие помойки, журналисты, писавшие о наркомании и проституции. Правда, общаться с этой сердитой публикой было сложно. Иногда не удавалось притворяться, что много пьешь, и приходилось пить по-настоящему. Виски Григорьев терпеть не мог, от водки его мучила изжога. От разговоров о постмодернизме и сексуальных извращениях болела голова. Чтобы не закисать, Григорьев взял себе за правило каждое воскресное утро проводить не менее трех часов на теннисном корте, неподалеку от дома.

Довольно скоро у него появился постоянный партнер, корреспондент «Вашингтон-пост» Билл Макмерфи, крепкий, гладкий, с розовой лысиной и радостной детской улыбкой. Ему, как и Григорьеву, было сорок три. Мягкий юмор и твердое рукопожатие, честный, прямой,

но не навязчивый взгляд в глаза. Простота без панибратства. Спокойный доброжелательный интерес к собеседнику, без тени заискивания. Умение слушать и слышать не только слова, но и интонации. Идеальный партнер, идеальный собеседник. Живая иллюстрация к пособию по искусству результативного общения и вербовки.

Макмерфи всегда готов был красиво проиграть, хотя владел ракеткой лучше Григорьева. Он, как и Григорьев, обожал классический джаз, постоянно приглашал Андрея Евгеньевича в лучшие джазовые клубы, мог часами говорить о Луи Армстронге, Элле Фитцджеральд, Бенни Гудмане и «Милс Бразерс». Стоило Григорьеву заикнуться о каком-нибудь редком альбоме давно забытой джазовой группы, и через несколько дней Макмерфи приносил ему в подарок пластинку или кассету с записью.

Иногда с тенниса и джаза их разговоры мягко соскальзывали на Афганистан, мелькали имена Солженицына и Сахарова, нехорошие словечки «агрессия», «тоталитаризм», «диктатура», «старческий маразм». Однажды ночью, в маленьком джазовом клубе, Макмерфи одолжил у какой-то дамочки черный косметический карандаш, намалевал себе огромные брови и, скорчив важную тупую рожу, произнес хлюпающим жирным басом: «Дорогие тоуарыши!»

Они успели много выпить перед этим, и Григорьев смеялся до упада, пока американский журналист произносил путаную напыщенную речь голосом «Хенерального секретара» на «чистом» русском языке. Они оба продолжали смеяться, когда сели в такси. Макмерфи довез Григорьева до дома и, прощаясь, прошептал ему на ухо, уже без всякого смеха и пародийного коверканья слов:

– Эндрю, все давно прогнило, профессионал не должен служить маразму.

– Билл, я не знал, что ты так отлично говоришь по-русски, – ответил Григорьев.

На следующее утро он отправился с докладом к своему руководству просить санкцию на вербовку Уильяма Макмерфи, корреспондента «Вашингтон-пост». Руководство запросило центр. Центр дал «добро».

Летом 1982 года Григорьев познакомился с крупным профсоюзным лидером по фамилии Скарлатти. Сумрачный толстяк итальянского происхождения был известен своими левыми взглядами и феноменальным обжорством. Григорьев приглашал его в лучшие французские, японские и греческие рестораны и ублажал ненасытную утробу объекта разработки артишоками, фаршированными грибами и ветчиной в ореховой корочке, королевскими креветками в коньячном соусе, медальоном из новорожденного ягненка на косточке с соусом «Кориандр». Ресторанные счета Григорьев прикладывал к подробным официальным отчетам.

Намеки на более тесное и конкретное сотрудничество объект понимал, принимал к сведению, важно кивал и поглаживал свое необъятное брюхо.

Однажды утром на теннисном корте Макмерфи сочувственно заметил:

– Эндрю, тебе не мешало бы сбросить пару фунтов. У тебя появилась одышка и прыжок стал тяжелей.

– Что делать, Билли? Возраст, сидячая работа, – вздохнул Григорьев.

– Брось, Эндрю. Возраст совершенно ни при чем. Работа – да, она у тебя сидячая, причем сидишь ты в основном в дорогих ресторанах, – Макмерфи надул щеки и выпятил пузо. – Кстати, я давно хотел спросить, что тебя связывает с этим тупым профсоюзным обжорой?

– Прости, не понял, – напряженно улыбнулся Григорьев.

– Все ты отлично понял, – Билли похлопал себя ракеткой по колену, – ты уже месяц набиваешь утробу Скарлатти французскими и японскими деликатесами. Это же дикие деньги, Эндрю. Объясни, зачем тебе это нужно?

В голове Григорьева тут же завертелись разнообразные варианты вранья, более или менее достоверные, но одинаково бесполезные. Макмерфи был таким же профессионалом, как он, и любое вранье принял бы, как удачную подачу теннисного мяча, с одобрительной улыбкой.

– Нет, конечно, если бы ты, Эндрю, был агентом КГБ, тогда в твоей дружбе со Скарлатти имелся бы определенный смысл, – продолжал рассуждать Билл, спокойно и насмешливо глядя в глаза Андрею Евгеньевичу, – а так... не понимаю.

– В нашей жизни вообще много всего непонятного, – вяло парировал Андрей Евгеньевич.

Разговор этот они продолжили вечером в маленьком джазовом клубе, громким таинственным шепотом, под изумительный свинг черного певца, почти соприкасаясь лбами. Макмерфи рассказал, что прожорливый «красноватый» Скарлатти тесно связан с наркомафией, замешан в нескольких нераскрытых заказных убийствах. Он дважды ускользал от правосудия. В последний момент свидетели обвинения отказывались от своих показаний либо бесследно исчезали. Но недавно возникли упорные слухи, будто Скарлатти завербован КГБ, и это скорее хорошо, чем плохо.

– У меня есть друзья в самых влиятельных структурах, – доверительно сообщил Макмерфи, – они были бы очень благодарны тому, кто поможет задержать Скарлатти по подозрению в шпионаже. Если бы удалось взять жирного мерзавца с поличным, допустим, в момент получения денег от КГБ, это вряд ли понравилось бы его коллегам-бандитам. Мафия не любит, когда ее члены подрабатывают на стороне, и братской поддержки Скарлатти не получит. А в одиночку ему не выкрутиться.

– Но видишь ли, Билли, человек, который поможет твоим влиятельным друзьям арестовать Скарлатти как шпиона, сильно обидит своих влиятельных друзей, – возразил Григорьев, – не только мафия не любит, когда ее члены подрабатывают на стороне. Этого никто не любит и не прощает.

– Эндрю, мы говорим сейчас о Скарлатти, об отпете мерзавце Скарлатти. При чем здесь любовь и прощение? – грустно улыбнулся Макмерфи. – Мы уходим от главной проблемы. Видишь ли, Эндрю, самого факта общения со Скарлатти довольно, чтобы щедрый любитель французской кухни был выдворен из США в двадцать четыре часа. И если этот человек хоть что-то для тебя значит, если его судьба тебе не безразлична, ты должен ему помочь.

– погоди, Билли, но ведь у вас свободная страна, вина Скарлатти пока не доказана, он такой же гражданин, как все, и я не понимаю... – неуверенно пробормотал Григорьев и замолчал на полуслове, поскольку указательный палец Билли грозно закачался у него перед носом.

– Давай не будем валять дурака, Эндрю. Этот твой человек ведь только притворяется дипломатом, мы с тобой оба знаем, кто он на самом деле, верно? У чистого советского дипломата не хватило бы денег на эти безумные гастрономические оргии. В вашем государстве только одно ведомство может себе позволить вываливать такие огромные суммы. Формальный повод для выдворения тайного сотрудника этого ведомства из нашей страны – не проблема. Очень обидно, Эндрю, когда тебя выгоняют вон. Но будет совсем обидно, если в чью-то злую голову придет идея сфабриковать нечто грязное, недостойное. Допустим, твой приятель зайдет однажды в магазин, и вдруг на выходе его задержит охрана. Что такое? В чем дело? Извините, сэр, нам придется вас обыскать. Да пожалуйста, обыскивайте! Я честный человек, и все такое. Он ведь честный человек, этот твой приятель, правда, Эндрю? Представляешь его шок, его ужас, когда охранник извлечет у него из кармана какую-нибудь дорогую изящную штучку. Серебряную зажигалку, например, или шарф из натурального шелка от Картье.

– Перестань, Билли, – поморщился Григорьев, – это старые дешевые трюки, мне даже странно слышать от тебя подобные глупости.

– Так они потому и старые, что всегда срабатывают, – подмигнул Макмерфи, – и дешевые, потому что выбор большой. Есть еще наркотики, совращение детей, да мало ли на свете грязи, Эндрю? Она ужасно липкая, отмыться сложно. Не лучше ли обойтись без нее?

– Это невозможно, – покачал головой Григорьев.

– Всегда есть выбор, Эндрю.

– Выбор между предательством и грязью?

– Нет, Эндрю. Не совсем так. Выбор между двумя вариантами развития событий. Вариант первый. Мерзавец, убийца Скарлатти будет гулять на свободе, набивать свое брюхо в дорогих ресторанах, а благородного интеллектуала, человека тонкого, умного, образованного, обвинят черт знает в чем, выгонят вон с позором. Но этого мало. Когда он окажется дома, когда переживет все унижительные разбирательства с начальством, вдруг начнут всплывать дальнейшие подробности его пребывания в США. Окажется, что его тесная дружба с некоторыми представителями зарубежной прессы стала причиной целого ряда серьезных провалов и неприятностей. В задушевных беседах он выкладывал много всякой информации, в том числе и сверхсекретной, причем не по легкомыслию, а с определенной корыстью. За деньги. За возможность остаться в США.

Григорьев не выдержал и рассмеялся. Смех получился фальшивый, больше похожий на нервную икоту.

– Ну, насчет денег это ты загнул, Билли. Нужны доказательства, просто так никто не поверит.

– Доказательства будут, поверят все, ты сам это отлично знаешь. А насчет остаться в США я тоже загнул? Или нет?

Григорьев ничего не ответил. Чтобы прекратить икоту, он схватил стакан с остатками яблочного сока и выпил залпом. Но в стакане оказалось виски. Его чуть не стошнило. Он кинулся в туалет, задевая в полумраке углы чужих столов и чувствуя спиной взгляд Макмерфи, насмешливый и сочувственный. В маленьком чистом туалете он долго плескал в лицо ледяную воду, тер красные воспаленные глаза. Программа, изложенная Макмерфи, была вполне реальна. Нельзя кормить противника одним только враньем, если противник не идиот. А работать с идиотами нет смысла.

Они с Макмерфи довольно часто делились друг с другом реальной секретной информацией. Да, дозированной, да, не совсем свежей, вчерашней, но реальной. Иначе давно распалась бы эта дружба, которую вашингтонская резидентура считала чуть ли не самой серьезной своей победой за последние несколько лет. Уильям Макмерфи был полковником ЦРУ. Андрей Евгеньевич Григорьев был полковником КГБ. Они играли на равных. И каждый дал, когда другой подставится. Никто не виноват, что Григорьев подставился первым.

Он вернулся за столик, Макмерфи почти дремал, откинувшись на спинку стула. Не открывая усталых глаз, он продолжил говорить так, словно не было никакого перерыва:

– Вариант второй. Благородный интеллектуал поможет упрятать убийцу за решетку и получит возможность остаться в стране, которую, между прочим, любит, в которой ему живется лучше, комфортней, чем у себя дома.

– Откуда ты знаешь, где кому комфортней? – быстро, нервно спросил Григорьев.

– Мне так кажется, – улыбнулся Макмерфи, – просто кажется, и все. Подумай, Эндрю, оцени все спокойно и трезво. При нашей специфической работе факт предательства надо долго доказывать. А грязь видна сразу. Среди твоих коллег найдется много желающих поверить, что ты вор, что ты торгуешь наркотиками и растлеваешь малолетних. Плохому верят охотней, чем хорошему. Особенно если это плохое касается умной, яркой, успешной личности. Никто не оценит твоего благородства. Неудачники, заляпанные грязью, никому не симпатичны, главное, они самим себе не симпатичны, – он замолчал, отвернулся, показывая всем своим видом, что дает Григорьеву время на размышления.

Еще минут двадцать они послушали черный джаз, молча мрачно выпили по бокалу белого вина, сели в такси, холодно попрощались.

На следующий день Григорьев должен был после работы зайти в магазин и купить Кларе подарок на день рождения. Нюхая духи, разглядывая сумочки, блузки, украшения, он вздрагивал, если кто-то подходил близко и прикасался к нему. В итоге купил какую-то идиотскую шляпу, которая совершенно не шла Кларе, к тому же оказалась ей мала.

Скарлатти для дальнейшей разработки был передан другому сотруднику, у которого жена славилась своими кулинарными талантами. Кормить агента домашними деликатесами было все-таки дешевле, чем водить по ресторанам. А Григорьеву пришлось сбрасывать лишние пять килограммов. Он сел на строгую овощную диету и значительно больше времени проводил на теннисном корте. Закончив вничью очередную партию с Макмерфи, он за стаканом апельсинового сока вдруг принялся рассуждать о человеческих слабостях и в качестве примера поведал историю падения некоего итальянца, страшного обжоры, который повадился играть в рулетку в Атлантик-Сити.

– Пока ему везет. Он постоянно выигрывает, причем всегда знает, сколько именно должен выиграть. Например, послезавтра он намерен положить в карман около пятисот долларов. Потом он отправится в ресторан «Мерлин». У него есть странная привычка пересчитывать деньги в туалете именно этого ресторана, закрывшись в третьей от окна кабинке.

Через день Скарлатти был арестован сотрудниками ФБР по подозрению в шпионаже. Его взяли с поличным в момент получения солидной суммы от связника в туалете ресторана «Мерлин» в Атлантик-Сити. Связника тоже взяли, он сразу «потек», стал давать признательные показания, выложил все, что знал и о чем догадывался, объявил себя «узником совести», попросил политического убежища в США.

Через неделю Макмерфи пригласил Григорьева на вечеринку барбекю. Пока гости увлеченно поедали жареные сосиски и куриные крылышки в саду за домом, Григорьев уединился с хозяином в гостиной.

– Знаешь, Билл, я все продумал и решил. Пусть наши считают, будто это я тебя завербовал, а не ты меня, – сказал он шепотом, по-русски.

– Эндрю, а я тебя уже завербовал? – удивленно улыбнулся Макмерфи.

– Ну, если не ты меня, то я тебя, – Григорьев скорчил уморительно серьезную рожу, – когда встречаются два хитрых шпиона, один другого обязательно завербует. В конце концов, какая разница, кто кого? Потом как-нибудь разберемся.

– Конечно, Эндрю, разберемся, – согласился Макмерфи и весело подмигнул.

\* \* \*

Самолет проваливался в воздушные ямы. Соседка справа, сухонькая католическая монахиня, перекрестилась. Сосед слева, толстый парень с бандитской физиономией, громко матерно выругался. Маша Григорьева нащупала под сиденьем туфли, отстегнула ремни безопасности и поднялась.

– Разрешите пройти.

Толстяк долго возился со своими ремнями, наконец вылез, пропустил Машу и, прежде чем сесть на место, целую минуту смотрел ей вслед.

Когда разносили напитки, он брал себе пиво, но давали мало, он просил монахиню и Машу взять для него еще. Обе отказывались. Толстяк вел себя ужасно. Ковырял то в носу, то в ухе и долго, внимательно рассматривал добытое. Громко рыгал и портил воздух. Развалился в кресле, занял оба подлокотника, обматерил соседа сзади, когда тот попросил поднять спинку кресла, и соседа спереди, когда тот опустил свою спинку.

Маша медленно, осторожно шла по узкому проходу в хвост, чувствуя этот взгляд позвоночником. Она обернулась. Взгляд вдруг показался слишком осмысленным и пристальным для пьяненькой шпаны. Самолет качнуло. Маша схватилась за спинку попутного кресла, правая рука неловко вывернулась, и тупая ноющая боль потекла от кисти к плечу. В кресле, свернувшись калачиком, спала девочка лет пяти. Толстый сосед наконец уселся. Холодок в позвоночнике растаял.

– Девушка, вернитесь, пожалуйста, на место, сейчас будет сильно трясти. Зона грануленности, – сказала стюардесса по-русски. Она вышла из-за шторки и столкнулась с Машей в проходе. Кому-то в первом салоне стало нехорошо. Она несла лекарство и воду.

– Ничего, у меня отличный вестибулярный аппарат, – Маша улыбнулась и поспешно скрылась в туалетной кабинке.

Самолет трясло и качало. Маша зачерпнула скудной водицы из-под крана, провела мокрой ладонью по лицу. В тройном зеркале отразилась худенькая пепельная блондинка, стриженная под мальчика. Круглые голубые глаза. Высокая шея, острые узкие плечи. Макмерфи все-таки уговорил ее постричься. Напрасно. Волосы жалко, теперь будут долго отрастать. Впрочем, так тоже неплохо. Совсем новый облик. Макмерфи в одном прав – с короткой стрижкой она выглядит значительно моложе и наивней. Интересно почему? Может, из-за того, что шея кажется совсем тонкой и беззащитной, глаза почему-то стали больше, овал лица обострился и видно, что уши немного оттопырены. Возможно, для полноты образа не хватает маленьких круглых очков в тонкой оправе.

В отличие от убитого Томаса Бриттена, она отправляется учиться, а не учить, она никакой не консультант, ей просто надо набрать материал для диссертации на тему «Средства массовой информации и влияние новых политических технологий на самосознание людей в разных слоях общества посттоталитарной России». Звучит достаточно смутно, чтобы позволить себе совать нос куда угодно.

Она бегаёт по утрам, обожает футбол и вместо ночной рубашки надевает футболку с эмблемой университетской женской команды. Макароны называет «паста». Чистит зубы три раза в день, не менее пяти минут, и широко улыбается всем без разбора. Водит машину и пользуется кредитной карточкой с четырнадцати лет. Туфлям на каблуках предпочитает кроссовки, может надеть их даже с деловым костюмом и с вечерним платьем, если очень хочется, потому что главное – чувствовать себя комфортно. Искренне верит, что обычный табак в сто раз вредней марихуаны, и может рассуждать об этом также горячо и грамотно, как о Фолкнере и Набокове. Вставляет в рамки и развешивает по стенам все дипломы и похвальные листы, полученные за свою коротенькую жизнь. В голове веселые шумные опилки, как у Винни-Пуха. О, йес! Толстой! Достоевский! Вау! Загадочная русская душа! В сумочке синий американский паспорт и несколько разноцветных пластиковых карточек: кредитки, международные водительские права.

Гражданка США Мери Григ, 1975 года рождения. Вся такая свеженькая, новенькая, будто только что сошедшая с обложки умеренно-интеллектуального молодежного журнала, вся сверкающая здоровьем, промытая до блеска, пропахшая туалетной водой «Кензо» и мятной жвачкой.

Встречать в аэропорту ее должен Стивен Ловуд, сотрудник посольства США, официально – заместитель атташе по культуре, на самом деле офицер ЦРУ. Маша знала его в лицо, когда-то он преподавал в разведшколе. По легенде Ловуд был близким другом ее родителей, погибших в авткатастрофе. Макмерфи удачно это придумал. Всегда надежней, когда в легенде есть определенная доля правды.

По радио объявили, что через несколько минут пассажирам будут предложены беспощинные товары «Аэрошопа». Поскольку самолет все еще находится в зоне грануленности, пассажиров просят вернуться на свои места и пристегнуться ремнями безопасности. В дверь туалетной кабинки настойчиво стучали.

– Занято! – крикнула Маша.

Из потайного кармана сумочки она достала плотный маленький конверт. Внутри лежала тонкая стопка фотографий. На них были запечатлены семь мужских физиономий, совершенно разных. С бородой и с усами. Только с усами. С длинными волосами и гладко выбритым лицом. С трехдневной щетиной на щеках и под носом, но с обритым черепом. На самом деле это были

вовсе не фотографии, а составленные на компьютере фотороботы одного и того же человека, который мог за четырнадцать лет не только изменить свою внешность, но и измениться естественным образом до неузнаваемости.

В дверь опять постучали.

– Одну минуту! – крикнула Маша.

– Девушка, с вами все в порядке? – громко спросила стюардесса.

– Да!

– Тогда выйдите и вернитесь на свое место.

– Да, сейчас!

Маша принялась не спеша, внимательно рассматривать каждый портрет, затем мелко рвала и бросала в дырку унитаза.

Уничтожив портреты, все до единого, она нажала рычажок слива. Разноцветные клочки со свистом исчезли в воздушном пространстве, где-то над Атлантикой.

## Глава девятая

У Евгения Николаевича Рязанцева так дрожали руки, что он не мог расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки. Ворот душил его. Ткань стала мокрой от пота и прилипла к шее. Провозившись несколько минут, он просто рванул изо всех сил, и сразу три пуговицы с тихим стуком посыпались на кафельный пол.

– Я могу побыть один? – спросил он глухо.

– Здесь? Или проводить вас в кабинет главврача? – вежливо уточнил майор ФСБ Птичкин.

– Здесь. С ней.

Все молча вышли. Дверь оставили приоткрытой.

– Слушай, Егорыч, но нам придется допросить его сегодня, – донесся до майора интимный шепот Птичкина, – не получится скрыть. Да и какая разница? Не сегодня, так завтра он все равно узнает.

– Завтра – пожалуйста, сегодня – нет, – прошептал в ответ Егорыч.

– А если он захочет новости послушать в машине?

– Отвлеку как-нибудь. Это мои проблемы. К тому же в новостях говорится, что убит некий гражданин США, которого зовут Тим Брелтон. Об этом попросили сами американцы и предложили фальшивое имя. Потом, в случае чего, можно сослаться на какую-нибудь мелкую сошку из пресс-центра МВД, которая не знает английского и перепутала латинские буквы.

– Ну хорошо, – не унимался Птичкин, – а если кто-нибудь из журналистов к нему прорвется?

– Не прорвется. До завтрашнего утра я никого близко не подпущу.

– Ты прямо как нянька с ним возишься, честное слово, – покачал головой Птичкин.

– Мне платят за это.

Арсеньев успел заметить, что усатый майор хорошо знаком с начальником охраны партийного лидера и у них много общих секретов. При встрече они не просто поздоровались за руку, а расцеловались троекратно и потом постоянно шептались о чем-то.

Из анатомического зала послышался тихий сдавленный вой, больше похожий на волчий, чем на человеческий. Птичкин вопросительно взглянул на Егорыча. Тот слегка помотал головой и прикрыл дверь. Но вой все равно был слышен и разрывал душу.

– Может, лучше сразу сказать? – громко прошептал майор.

– Перестань, мы все уже решили, – поморщился Егорыч.

– Он ведь воет потому, что думает, будто она его любила. А если узнает про американца...

– Наоборот, – повысив голос, перебил Егорыч, – если узнает, будет еще хуже. Я же объяснил тебе, у него сегодня прямой эфир на первом канале в вечерних новостях. Он должен быть как огурчик.

– Да уж, огурчик, – с легкой усмешкой прокомментировал майор очередную волну воя.

Егорыч ничего не ответил и неприязненно покосился на Арсеньева.

Все здесь были свои, а Арсеньев чужой. Ему это сразу дали почувствовать, никому не представив, не сказав ни слова и проскальзывая мимо него глазами, словно он не человек, а пустое место. Так нарочито невежливо ведут себя братки-быки, середнячки уголовного мира, если в каком-нибудь общественном месте, в ресторане например, в их компанию попадает случайный неопасный чужак, которого почему-либо нельзя прогнать.

Майор слишком устал, чтобы реагировать на такую ерунду. Ему хотелось домой, в душ и в койку. Он знал, что проспит часов десять, не меньше, а потом, на свежую голову, решит, стоит ли докладывать начальству о странном разговоре с ординатором.

Вой прекратился. Через минуту дверь открылась. Евгений Рязанцев, бледный до синевы, уперся красными сухими глазами в лицо Арсеньеву и отрывисто произнес:

– Вы, как я понимаю, первым оказались на месте преступления.

– Я приехал по вызову. Первой была домработница убитой.

– Это я знаю, – кивнул Рязанцев, – я хочу побеседовать с вами. Еде это можно сделать?

Через несколько минут они сидели в мягких креслах в кабинете главного врача. Работал кондиционер. Окна были защищены от горячего закатного солнца плотными жалюзи. Хозяин кабинета, высокий пожилой человек в хрустящем белом халате, тактично удалился, распорядившись насчет прохладительных напитков. Рязанцев залпом выпил ледяной воды, закурил и нарочито спокойно спросил:

– Почему у нее такое лицо? Ее пытали?

– Ну, это не ко мне, это к медэксперту, – пожал плечами Арсеньев.

– Ваш эксперт пьян. От него за версту разит.

– Евгений Николаевич, успокойтесь, эксперт вполне грамотный, он вам все объяснил, – укоризненно заметил Птичкин, – может, вы поедете сейчас домой? Вам надо отдохнуть. У вас еще будет возможность побеседовать с майором, и не раз.

– Что там было, кроме выстрела? Ограбление? Ее пытали? Насиловали? Я должен знать! – повысил голос Рязанцев, нарочно не обращая внимания на майора и приближая свое плакатное лицо к Арсеньеву почти вплотную.

Сейчас эта мужественная физиономия совсем не годилась для съемки. Пот тек градом, ко лбу прилипли мокрые темные пряди, глаза покраснели, губы пересохли и запеклись.

– Ничего, – сказал Арсеньев, – ничего не было, ни насилия, ни ограбления. Убийца вошел в квартиру и выстрелил ей в затылок. Она даже не успела проснуться.

Краем глаза он заметил, как одобрительно шевельнулись усы Птичкина.

– Но тогда почему так изменилось лицо? – закричал Рязанцев. – Почему распух нос, откуда эти пятна на коже? Почему такие воспаленные, окровавленные губы? Что с ней сделали?

– Евгений Николаевич, ее убили, – Егорыч положил ему ладонь на плечо. – Поехали домой, а?

– Да, сейчас поедем, – кивнул Рязанцев, уже вполне спокойно. – Обыск был? – обратился он к Птичкину.

– Нет еще. Нам нужен человек, который хорошо знает квартиру. Она ведь жила одна, и трудно понять, пропало ли что-нибудь из вещей, бумаг, ценностей. Нам неизвестно, какие суммы она могла держать дома, какие у нее имелись ювелирные украшения, – важно объяснил Птичкин, – при первоначальном осмотре вроде бы все на месте, никаких следов ограбления, в квартире идеальный порядок.

– Что? – Рязанцев достал платок, вытер лоб, помахал рукой перед носом у Птичкина. – Идеальный порядок? Можно подробней?

– Не понял, – Птичкин кашлянул, – как это – подробней?

Рязанцев резко отвернулся от майора и опять обратился к Арсеньеву.

– Вот вы, – он покосился на погоны, – вы, майор, должны знать точно. На полу что-нибудь валялось? Одежда, белье, халат, полотенце?

– Ничего не валялось.

– А где? Где все это было?

– Одежда и белье в гардеробной комнате, халаты и полотенца в ванной. – Арсеньев вдруг отчетливо вспомнил, что в спальне действительно он не заметил ни одного лишнего предмета, даже тапочек. Гильз от двух смертельных выстрелов тоже не нашли.

– Что на ней было надето? – спросил Рязанцев совсем тихо.

– Ничего.

– Совсем?

– Совсем ничего, кроме часов и украшений.

– Каких именно украшений?

– Серьги, кольца, образок на цепочке на шее... Экспертизу еще не проводили, но и так понятно, что все это очень дорогие вещи. Белое золото, сапфиры, бриллианты, часы фирмы «Картье».

Рязанцев стукнул кулаком по подлокотнику и пробормотал, ни к кому не обращаясь:

– Она никогда не спала голышом, даже в жару, и всегда снимала на ночь часы и украшения. – Он налил себе еще воды, расплескав половину, отхлебнул и крепко зажмурил глаза. Арсеньев, сидевший ближе других, заметил, что по щекам его текут слезы.

– Женя, – осторожно окликнул его Егорыч, – поехали домой. У тебя через три часа прямой эфир.

Рязанцев сжал кулаки так сильно, что побелели костяшки, и заговорил хриплым, отрывистым фальцетом:

– Порядок в ее квартире – это нонсенс! Чушь! Домработница убирала через два дня на третий, и к ее очередному приходу все было вверх дном. Вы до сих пор не допросили домработницу! Вы не провели обыск и не знаете, похищено ли что-нибудь из квартиры. Прошло двенадцать часов! И никто ни хрена не шевелится! Вам нужен человек, который хорошо знает квартиру? Этот человек вас вызвал. Этот человек был в полном вашем распоряжении. Лучше Лисовой Светланы Анатольевны никто не знает, где что лежит у Вики, даже сама Вика!

– Но мы беседовали с Лисовой, она сначала была в шоке, а потом отказалась отвечать на вопросы, – попытался оправдаться Арсеньев.

– Что значит – отказалась?

– Она заявила, что у нее нет привычки рыться в чужих вещах и она понятия не имеет, где у ее хозяйки лежат деньги, какие суммы могли находиться в доме.

– Чушь! Все она отлично знает. Ладно, я сам с ней поговорю. Значит, что же у нас получается? Если это заказное убийство, зачем понадобилось входить в квартиру? Вика ездила без охраны. Куда проще убить на улице, у подъезда. В квартиру проникли потому, что им надо было туда проникнуть. Ее, конечно, допрашивали, просто делали это профессионально, и практически никаких следов не осталось. Наверняка они там все перерыли, а потом убрали за собой, – он тряхнул головой, тяжело поднялся, – ладно, Егорыч, поехали. Перед эфиром мне надо принять душ и побриться.

\* \* \*

Двор был тихий, просторный и почти пустой. Никого, кроме стайки сонных бомжей на сдвинутых скамейках у ограды спортивной площадки. Стивен Ловуд даже пожалел, что назначил встречу именно здесь. Все-таки не очень приятно общаться с бандитом в безлюдном месте.

Впрочем, собеседник Ловуда совсем не был похож на бандита. Выглядел он скорее убого, чем устрашающе. Лет сорока пяти мужчинка, маленький, болезненно худой, с редкими пегими волосами, уродливо постриженными и давно немывтыми, с нечистой рыхлой кожей, он вполне мог бы вписаться в бомжовскую стайку у спортивной площадки. И одет был соответственно. Мятая ситцевая рубашка в мелкий горошек заправлена в спортивные трикотажные брюки на резинке, сверху засаленная джинсовая куртка.

Они беседовали уже минут двадцать и совершенно не понимали друг друга.

– Заказ был? – тупо повторил бандит в десятый раз.

– Да, конечно, – терпеливо кивнул Ловуд, – и аванс вы получили.

– Ну и чего теперь? – спросил бандит, пуская дым из ноздрей.

– Теперь обстоятельства изменились, и я бы хотел получить назад свои деньги.

– Так они не по нашей вине изменились, обстоятельства, блин, – резонно заметил бандит.

– А по чьей же?

– Вот это у вас надо спросить, – бандит равнодушно пожал хилыми плечами.

– У меня? – Ловуд сделал надменно-недоуменное лицо. – Вы хотя бы отдаете себе отчет, какую сейчас чушь говорите? Вы взяли на себя определенные обязательства, получили деньги. Тут выясняется, что вы не в состоянии контролировать ситуацию.

– Так чего там контролировать? – вяло возразил бандит. – Уже, как я понял, и ситуации никакой нет, и контролировать нечего.

– Замечательно, что вы хотя бы это поняли, – саркастически усмехнулся Ловуд, в очередной раз поражаясь непроходимой, дремучей тупости собеседника.

Он видел перед собой жалкий профиль бандита, плоский маленький нос, изрытую шрамами от фурункулов щеку, скошенный подбородок, подернутый редкой светлой щетиной. Вообще сам факт, что он, дипломат, образованный человек, старый опытный разведчик, вынужден общаться с такой жалкой скучной тварью, вызывал у него легкую, но настойчивую тошноту, словно он съел что-то несвежее.

– Да я-то, допустим, понял, – процедил бандит задумчиво, – а как насчет вас?

– В каком смысле?

– Ну, заказ-то сделан.

От группы бомжей отделилась сгорбленная черная фигура и направилась к ним. Бандит встрепенулся, распрямил сутулую спину, напряженно прищурился и на миг перестал казаться таким жалким. Что-то внутри у него включилось, будто лампочка вспыхнула в темной комнате. Он окинул бомжа острым внимательным взглядом и тут же расслабился, погас, стал опять тупым и скучным.

Бомж выглядел вполне натурально: рваный, грязный, вонючий и с такой рожей, что Ловуда слегка передернуло. Тяжелые, низкие надбровные дуги, раздутые синюшные губы, нос неправдоподобных размеров, пористый, бугристый, как гигантская перезрелая клубничина.

– Мужики, сигаретки не найдется? – спросил он грубым гулким голосом.

– Акромегалия, – прошептал Ловуд, ежась от омерзения.

– Чего? – покосился на него бандит, приветливо кивнул бомжу и дал ему пару сигарет из своей пачки.

Бомж, с трудом растягивая вздутые губы в чудовищной улыбке, забормотал «вот спасибочки!» и поспешно вернулся к своим собратьям.

– Хорош мужик, да? – подмигнув Ловуду, заметил бандит. – Ну, так чего, как решаем с заказом?

Ловуд закрыл глаза и потряс головой. Он окончательно перестал понимать своего собеседника. Он знал, что теперь ему еще долго будет мерещиться чудовищная рожа бомжа.

Стивен Ловуд был ипохондриком. Случайный чих он воспринимал как начало тяжелого гриппа с последующими смертельными осложнениями. Если болела голова, сразу возникали мысли об инсульте, изжога и боль в желудке заставляли думать о раке. Но более всего пугали его болезни редкие, загадочные, возникающие непонятно почему и не поддающиеся лечению. Именно к ним относилась акромегалия, которой страдал этот несчастный бомж.

Она начинается незаметно, вкрадчиво. Легкая слабость, онемение конечностей, бессонница, потливость, тупая головная боль в области лба. С кем не бывает? Ловуд в последнее время дурно спал, по утрам был вялым, обильно потел, страдал тупой головной болью и каждый раз чрезвычайно внимательно разглядывал себя в зеркале.

При акромегалии меняется внешность, очень медленно, каждый день по чуть-чуть. Сам человек сначала вообще ничего не замечает. Черты лица грубеют. Выпячиваются надбровные дуги, расширяются скулы и нижняя челюсть. Происходит разрастание мягких тканей лица, разбухает нос, вздуваются губы. Усиленно растут волосы на туловище и конечностях, кисти рук и ступни расширяются, как лапы животного, сипнет голос, потому что распухают голосо-

вые связки. Человек постепенно превращается в сказочного монстра, в оборотня, окружающие шарахаются от него. А все дело в маленькой, размером с фасолинку, железке, которая называется гипофиз. Просто она вдруг начинает вырабатывать больше гормона роста, чем необходимо.

Грипп – это лишь инфекция, если быть осторожным, можно не заразиться. Инсульт в большинстве случаев – результат гипертонии и сильного нервного перенапряжения. Риск заболеть раком существенно снижается, если следить за своим питанием, не курить, не нервничать и повышать общую сопротивляемость организма. Но есть хвори настолько таинственные, что поневоле приходит в голову всякая мистическая дрянь о дурном глазе, проклятии, каре Божьей.

Как материалист и здравомыслящий человек, Стивен Ловуд не верил во всю эту дребедень. Но если бы кто-нибудь мог внятно объяснить, почему вдруг крошечная железка гипофиз, ни с того ни с сего, так жестоко шутит? Как можно застраховаться от этих шуток? Почему и зачем такое происходит с человеком, и существует ли реальный способ остановить процесс превращения приятного джентльмена в сказочное чудовище?

Сидя на лавочке в тихом пустом дворе неподалеку от Ленинградского проспекта, Ловуд прилип взглядом к стае бомжей и все искал среди темных фигур несчастного с акромегалией. Он знал, что нельзя смотреть в ту сторону, нельзя застревать на дурных впечатлениях, но ничего с собой поделывать не мог.

Между тем его собеседник явно заспешил, то и дело поглядывал на часы, кстати, весьма серьезные часы, настоящий золотой «Харвуд», и повторял все более настойчиво:

– Так чего с заказом решаем?

Вопрос сам по себе был настолько нелеп, что Ловуд, вникнув, наконец, в его суть, успокоился и снисходительно усмехнулся:

– Ну вы же взрослый человек, занимаетесь серьезным бизнесом. Неужели вам не ясно, что в таких случаях просто расторгают соглашение и возвращают заказчику аванс?

– Это как это? Я чего-то не понял, – нахмурился бандит.

– Да очень просто. Вы отдаете мне мои четыре тысячи, и мы расстаемся. Вы свободны от своих обязательств.

– Ага, конечно, – кивнул бандит и уставился на Ловуда маленькими острыми глазами.

Повисла долгая пауза, стал слышен дальний гул проспекта и хриплый, тихий смех бомжей. Бандит смотрел на Ловуда, не моргая. Смотрел и молчал.

– Ладно, – вздохнул Стивен, – мне пора. Сейчас у вас с собой, разумеется, этой суммы нет. Давайте условимся, где и когда мы встретимся. Мне удобно завтра, часов в одиннадцать утра, можно здесь же.

– Пять кусков, – тихо, внятно произнес бандит, продолжая сверлить Ловуда своим невозможным взглядом.

– Ну что вы, – удивился Ловуд, – четырех вполне достаточно...

– Я сказал пять! – повторил бандит и сунул Стивену в нос растопыренную тощую пятерню. – Вы нам должны еще пять тысяч. Срок три дня. Потом включаем счетчик.

– погодите, – Ловуд недоуменно потряс головой, достал бумажный платок, вытер мокрый лоб, – если я вас правильно понял, вы не только не собираетесь возвращать мой аванс, но и хотите, чтобы я вам заплатил еще пять тысяч?

– Угу, – кивнул бандит и улыбнулся, показывая идеально ровные фарфоровые зубы, совсем не бомжовские.

– Вы с ума сошли? – сочувственно спросил Ловуд, внимательней вглядываясь в его глаза. – За что я вам должен платить, интересно?

– За моральный ущерб, – невозмутимо объяснил бандит и сплюнул. – Срок три дня. Потом включаем счетчик.

– Да вы в своем уме? – Ловуд тоже встал, схватил портфель и преградил ему путь. – Вы мне должны, а не я вам.

– Короче, вы платить неустойки отказываетесь? – уточнил бандит, опять сплюнул и посмотрел на часы.

– Разумеется, отказываюсь! Я же нормальный человек! Неустойки, моральный ущерб! Нет, это бред какой-то! Вы думаете, так можно заниматься бизнесом? Это не бизнес, а черт знает что! Так нельзя, дорогой мой, так невозможно!

– Ясенько, ясенько, – задумчиво пробормотал бандит, глядя уже не на Ловуда, а сквозь него, и зашагал прочь, не оглядываясь.

Стивен стоял посреди дорожки, смотрел вслед тощей нелепой фигуре в трикотажных штанах, стоял долго, до тех пор пока не подошел к нему давешний больной бомж и не приблизил к его лицу свою кошмарную раздутую рожу:

– Слышь, мужик, у тебя рубликов трех не найдется? Очень надо, тут видишь, какое дело, как раз трех рубликов не хватает.

## Глава десятая

Уснуть в самолете было невозможно. По радио без конца что-то объявляли. После зон грануленности и товаров «Аэрошопа» опять стали разносить напитки. Толстый сосед перегнулся через Машу и принялся на ломаном английском умолять католическую монахиню, чтобы она взяла ему пива.

– Вы же сами можете взять, – ответила монахиня по-русски.

– В одни руки мало дают.

– Вам вполне достаточно. Вы перед этим водку пили. Нельзя смешивать.

– А ты откуда знаешь? – оскалился толстый и выругался в очередной раз, негромко, но отчетливо и совсем уж грязно. Монахиня вспыхнула, но сделала вид, что ничего не слышала.

Маша слегка дернулась и даже открыла рот, чтобы потребовать у толстяка извинений перед монахиней, но сдержалась, понимая, что в ответ прозвучит только очередная порция матерщины, и вообще не следует привлекать к себе внимание.

Тележка с напитками приближалась. Толстый пихнул Машу локтем под ребра.

– Слышь, ну ё-кэ-лэ-мэ-нэ, может, возьмешь пивка, а?

– Только если вы извинитесь и больше не будете материться, – сказала Маша.

Толстяк часто, удивленно заморгал и спросил с искренним недоумением:

– А я что, блин, нецензурно выражаюсь, да?

– Да, молодой человек, – тяжело вздохнула монахиня, – вы постоянно сквернословите, даже когда спите.

– Че, правда, что ли? – Он повертел головой, глядя то на монахиню, то на Машу.

Телега между тем оказалась рядом, стюардесса спросила, кто что будет пить.

– Ну возьми пивка, а? – взмолился толстяк, почти касаясь мокрыми губами Машиного уха.

– Не надо, деточка, он тогда будет себя вести совсем неприлично, – предупредила монахиня.

– Неприличней уже некуда, – громко заметил сосед сзади.

– Таких просто нельзя на борт пускать. А если уж пустили, то выдавать парашют и высаживать из самолета, – откликнулся сосед спереди.

– Высаживать, но парашюта не давать! – уточнила Маша.

Толстяк разразился такой длинной и звонкой матерной тирадой, что им занялась стюардесса, пригрозила штрафом, он наконец затих, залпом осушил свою законную банку пива и через несколько минут уснул. Во сне он храпел, подергивал ногой и ругался. Глаза его оставались приоткрытыми, и Маше вдруг почудилось, что он потихоньку наблюдает за ней из-под опущенных век.

«С ума сошла? Если бы это был «хвост», он ни за что не уселся бы рядом, он не вел бы себя так безобразно», – подумала она, машинально впечатывая в память мятую физиономию, тонкий кривой шрам над левой бровью, наколку на пухлой правой кисти. Интересная наколка. За время полета она имела возможность не только рассмотреть подробно овал с портретом длинноволосого мужчины, но и узнать его. Всего лишь президент Франклин, отпечатанный на купюре в сто долларов.

Клеть хулигана была покрыта густыми светлыми волосами, и портрет выглядел как лицо утопленника под слоем белесых подвижных водорослей. Маша пожалела, что свет недостаточно яркий. Ей захотелось рассмотреть, настоящая это татуировка или камуфляжная, нарисованная на коже.

«Почему, собственно, это должен быть «хвост»? Операция сверхсекретная, в самолете меня сопровождает как минимум двое наружников Макмерфи, они бы его в момент зафиксиро-

ровали. Если только он не один из них. А что, вполне возможно, такие шутники вполне во вкусе Билли. Он еще в школе, на практических занятиях, объяснял: если хочешь, чтобы тебя завтра не узнали, не обязательно сегодня вести себя тихо и незаметно. Если ты молчишь, то остаешься в визуальном ряду. Тебя все равно запомнят, причем именно визуально, поскольку больше зацепиться не за что. Как бы ни была неприметна твоя внешность, она обязательно кому-то врежется в память, особенно если рядом профессионал. И завтра тебе придется использовать парик, грим, накладные усы. Это почти всегда заметно при ярком свете и близком контакте. Лучше менять общий имидж и играть разные роли. Сегодня ты назойливый хам, завтра – приятный джентльмен, послезавтра – застенчивый растяпа. Главное, побольше фантазии и творческой инициативы. Темная традиционная одежда, аккуратная прическа, никакое лицо для оперативника не униформа, а один из маскарадных вариантов. Пиджак в мелкую пеструю клетку существенно отвлекает внимание от лица. Заикание, хромота, крупные яркие украшения, шляпа с павлиньим пером, повязка на глазу, распухшая щека, вонь. Если ты ковыряешь в носу, запомнят именно это, а не форму носа, если у тебя грязные ногти, никто не обратит внимания на форму твоих рук, если сегодня у тебя необычная татуировка на видном месте, а завтра ее нет, ты уже совсем другой человек... Стоп! Прекрати сейчас же!»

Маша ужасно разозлилась на себя. Так можно запросто свихнуться. Отец предупреждал, что первое время ей постоянно будут мерещиться «хвосты», и этот страх опасней самих «хвостов» в сто раз.

\* \* \*

Двадцать шестого августа 1983 года вашингтонский резидент Всеволод Сергеевич Кумарин собрал сотрудников у себя в кабинете, защищенном от прослушивания всеми существующими способами, в том числе электромагнитным полем.

– Среди нас находится предатель, – сказал он, впиваясь глазами в лица, – думаю, скоро нам удастся найти его и обезвредить.

Григорьеву казалось, что взгляд резидента задержался на нем дольше, чем на остальных. Он нервно крутил в пальцах металлический доллар и выронил его. Монета бесшумно подпрыгнула на мягком полу и покатила прямо под ноги резиденту. В комнате повисла тишина, система звукоизоляции делала ее абсолютно мертвой. Все смотрели на Григорьева, а он не знал, стоит ли встать, поднять свой доллар или лучше оставаться на месте, и пытался понять, где кончается его мнительность и начинается реальная опасность.

Доллар поднял первый помощник резидента, тихий вкрадчивый полковник Бредень, специалист по кадрам. Растянув губы в неприятной улыбке, он несколько раз подкинул монету на ладони и внезапно бросил Андрею Евгеньевичу. Тот успел поймать на лету и сжал свой доллар в кулаке с такой силой, что на коже потом еще долго оставались красные рубцы. Сквозь нарастающий звон в ушах он услышал спокойный голос резидента:

– У вас хорошая реакция, Андрей Евгеньевич. Сразу видно, что вы много времени проводите на теннисном корте.

Вечером он обнаружил за собой классический «хвост». Следили свои, причем почти открыто. Зачем – непонятно. Никаких встреч на этот вечер назначено не было. Он собирался вернуться домой и лечь спать. Жена уехала в посольство на ночное дежурство. В последнее время ее мучила бессонница, она перешла на ночной режим работы, отсыпалась днем. Григорьеву вдруг стало казаться, что в этом тоже скрыт некий тревожный смысл. С Кларой ведут работу, заставляют следить за мужем. Она нервничает и не может уснуть.

Как только он вошел в квартиру, тут же услышал телефонный звонок. Ему звонил Бредень. Тихим, вкрадчивым голоском, от которого у Григорьева побежали мурашки по коже, он попросил завтра с утра явиться к резиденту.

Едва Андрей Евгеньевич положил трубку, он услышал настойчивое мяуканье за дверью. Его кот Христофор, которого ему подарила Одри, жена Макмерфи, просился домой. Григорьев впустил кота, взял на руки и несколько минут стоял, прижимая к груди урчащий белоснежный комок и пытаясь сосредоточиться.

На улице шел мелкий дождь. Шерсть у кота была влажной.

Христофор был умным и верным животным. Он не мог незаметно прошмыгнуть на лестницу. Обычно, встречая хозяина, он радостно здоровался, терся о ногу, точил коготки о штанину, потом бежал в кухню, к своей миске. Значит, кота случайно выпустил кто-то другой, чужой, задолго до прихода Григорьева.

Внимательно оглядевшись, Андрей Евгеньевич стал подозревать, что в квартире был произведен аккуратный обыск. Но Клара уехала всего за час до его возвращения. Они что, обыскивали при ней? Нет, она ни за что не выпустила бы Христофора за дверь. Или ее вызвали на службу раньше под каким-нибудь предлогом? Или вообще обыскивали американцы? Но куда, в таком случае, они дели Клару?

Голова закружилась, затошнило. Плохо отдавая себе отчет в том, что делает, он принялся набирать рабочий номер жены.

– Андрюша, ты уже дома? Христофор нашелся? – спросила она, услышав его хриплое «алло».

– Да. Он почему-то был за дверью. Что случилось?

– Понимаешь, соседи на третьем этаже завели кошечку, и наш Христофор просто сошел с ума, орал, метался, чуть не сиганул с балкона. Когда я уходила, он умудрился выскользнуть за дверь. Я пыталась его поймать – бесполезно. Я опаздывала, он носился по лестнице, мне не удалось его загнать в квартиру. Значит, все уже в порядке? Ты меня слышишь, Андрюша?

– Да, – отозвался Григорьев, – все в порядке. Кот дома, я тоже.

– Почему у тебя такой голос? Ты не здоров?

– Голова раскалывается.

– Ну, так прими аспирину и ложись спать.

– Если бы! – нервно рассмеялся Григорьев, – У меня через полтора часа встреча с Макмерфи в джаз-клубе «Шоколадный Джо». Сейчас приму контрастный душ, и вперед.

– Бедненький! Ну ладно, держись. Целую тебя.

«Может, и не было никакого обыска? – с тоской подумал Григорьев, еще раз оглядывая гостиную. – И «хвоста» не было, просто у меня начинается паранойя? Зачем я соврал Кларе про «Шоколадного Джо»? Ведь я не собирался сегодня встречаться с Макмерфи. Клуб «Шоколадный Джо» – одно из мест для экстренных встреч. Что такого экстренного я могу сообщить? Пожаловаться, как мне страшно? Не рановато ли я стал бояться? Я просто трус. Мерзкий трус и предатель, с интеллигентской рефлексией. Я типичный отрицательный герой. Впрочем, положительность в моей ситуации мог бы сохранить только робот. И что ж теперь делать?»

Григорьев дал себя завербовать по заданию начальства. Он успешно играл роль «утки», подставного агента. Таких «уток» в разведке и контрразведке целые стаи. Деньги, получаемые от ЦРУ, Григорьев аккуратно сдавал в бухгалтерию посольства. Правда, это были далеко не все деньги. Настоящее вознаграждение за его услуги потихоньку оседало на тайном счете в одном из швейцарских банков. Суммы на счете отличались от сумм, сдаваемых в бухгалтерию, так же, как количество и качество информации, которую он скармливал Макмерфи, от жалкой «дезы», предлагаемой Центром. Если бы он отказался от этих денег, Макмерфи ему просто не поверил бы. Если бы доложил резиденту о счете, подставился бы очень серьезно. Не потому, что резидент считал противника идиотом, а потому, что над ним был Центр, а над Центром – еще более высокое руководство. Если начать докладывать снизу вверх, по инстанциям, во всех подробностях, от разведки и контрразведки вообще ничего не останется.

Вызов к резиденту не сулил ничего хорошего. Скорее всего, ему будет приказано первым же рейсом лететь в Москву и больше в Америку он никогда не вернется. Даже если сейчас, оказавшись в Москве, подвергнувшись унижительной проверке, он сумеет оправдаться, ЦРУ не оставит его в покое. Придется продолжить плодотворное сотрудничество уже на родине. Американцы его выжмут и выбросят, как апельсиновый жмых после здорового завтрака. Свои могут запросто расстрелять. Для разведчика, который играет роль предателя, не существует официального, утвержденного законом, свода правил, что можно делать, чтобы противник верил в его искренность, а чего делать нельзя. Все зависит от тысячи случайностей, от номенклатурных интриг, от сложного переплетения амбиций, симпатий, антипатий, мнений, настроений, общих веяний и прочей зыбкой чепухи.

Единственная и неотвратимая реальность – смерть. Перед ней, матушкой, все мельчает, словно глядишь через перевернутый бинокль.

В Советском Союзе расстреливают тихо и внезапно. Приговоренному не сообщают заранее даты и часа. Его выводят в очередной раз из камеры, то ли мыться, то ли на медосмотр, загоняют в специальное помещение и стреляют в затылок.

Стоя посреди своей вашингтонской квартиры, прелестной и очень уютной, поглаживая теплую влажную шерсть кота Христофора, Андрей Евгеньевич отчетливо ощутил тюремный запах сырости, хлорки, карболки. Загремели сапоги, зазвучали короткие приказы: «Стоять! Пошел! Лицом к стене!»

Пуля вонзается в затылочную кость, взрывает мозг. Тюремный врач резиновым пальцем приподнимает веко.

Зачем все это? Ради блага родины?

Что России во благо, а что во вред, давно никто не знает. Решения государственной важности принимает горстка маразматиков, заботящихся прежде всего о собственном благе. Им служит разведка, а вовсе не России. Они мыслят цифрами, блоками, массами, глыбами льда, если вообще способны мыслить. Их мозги заплыли идеологическим жиром. Их сосуды трещат от склеротических бляшек. Их души давно обросли изнутри медвежьей шерстью. Они злодеи и пошляки, что в общем одно и то же. Вместо сострадания – сентиментальность. Вместо истории – мифология. Вместо доброты – кровавая борьба за высокие идеалы, убийство миллионов ради блага человечества. Вместо обыкновенной жизни – помпезное театральное действие, чаще массовое, чтобы побольше грохота, рева, погуще толпа, поярче краски, главная из которых – красная живая кровь. Все злодеи в мировой истории от Калигулы до Сталина были чудовищными пошляками. Эти, нынешние, ничем не лучше.

Россия, родина, здесь совершенно ни при чем. Что же остается? Деньги? Неплохо. Но не достаточно. Может быть, он рискует жизнью и честью ради того, чтобы «холодная война» не закончилась «горячей войной», которая продлится не более суток? В мире накопилось слишком много смерти. Достаточно любой случайности. 3 июня 1980 года в результате ошибки американского компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США была объявлена ядерная тревога. Тогда мир спасло чудо. И никто ничего не понял. Ненависть разъедает не только здравый смысл, но даже инстинкт самосохранения.

Две ядерные сверхдержавы одинаково люто ненавидели друг друга, обе пребывали в равном самоубийственном маразме. Григорьев не понимал, на чьей он стороне. Он лавировал между своими и чужими и не отличал одних от других.

Чувство, которое невозможно определить затасканным до тошноты выражением «любовь к родине», но и никак иначе назвать нельзя, жило в нем и шевелилось ночами, как пальцы отрезанной конечности. Ему часто снилась эвакуация, снилась Москва в июле сорок первого. Он не мог этого помнить, ему было всего два года, но он ясно видел во сне звериную сутолоку вокзалов, мертвые улицы, разбитые витрины, крупный снег. Прямоугольные снежинки на самом деле были бумагами, которые летели из окон какого-то министерства. Еще

снилось море, курортный городок, раскаленные камни, дерево на скале. Кривая, завязанная узлом, сосенка. Жидкую крону треплет ветер, корни торчат из твердой земли, как варикозные вены.

Америка ему нравилась потому, что в ней можно комфортно существовать. Теплые чистые сортиры, никаких проблем с продуктами и одеждой, всегда и везде есть горячая вода. Рано или поздно придется сделать выбор, хотя по сути никакого выбора нет.

Все это молнией пронеслось в голове, пока он стоял, прижимая к груди мирно урчащего Христофора.

Телефонная трубка сама собой опять оказалась в руке. Он набрал номер Макмерфи. Слушая длинные унылые гудки, он заставил себя успокоиться. Никакой паранойи. Никаких галлюцинаций. Холодный здравый расчет. Сообщив Кларе о встрече, он косвенно подстраховался на случай дальнейшей слежки. Ничего необычного нет в его поведении.

В трубке щелкнуло и заговорил автоответчик:

«Привет, Билл. Это Эндрю. Контрольный звонок. Вдруг ты забыл, что сегодня в «Шоколадном Джо» выступают сестры Моул? Вот я тебе напоминаю. Сейчас отправляюсь туда. Надеюсь тебя увидеть».

Контрастный душ и чашка крепкого кофе окончательно привели его в чувство. Садясь в такси, он не обнаружил никаких «хвостов». Но главное, он вдруг понял, что воспользовался экстренной связью не только из-за своей паранойи. Он должен был сообщить Макмерфи нечто важное, именно сегодня вечером, просто от усталости, из-за «хвоста» не сразу вспомнил об этом.

В клубе с трудом удалось найти свободный столик. Сестры Моул, черные близнецы, лениво распевались на маленькой овальной эстраде. Они тихо свинговали, как бы только для себя, не обращая внимания на публику, не пытаясь продемонстрировать всю мощь своих изумительных голосов. Макмерфи появился минут через сорок.

– Что случилось, Эндрю? – спросил он, необычно холодно поздоровавшись.

– За мной был «хвост». Меня подозревают. Завтра утром я должен явиться к резиденту, и, вероятно, меня отправят в Москву.

– Не кричи, Эндрю, я понимаю, ты устал, нервничаешь, но держи себя в руках. Ты становишься слишком мнительным. – Макмерфи улыбнулся и потрепал Григорьева по плечу. – Паранойя в ваших рядах распространяется, как грипп, воздушно-капельным путем. Смотри, Эндрю, не подцепи эту заразу.

– Я разве кричу? – удивился Григорьев.

Он не заметил, как перешел на крик. Но не потому что опять занервничал. Просто близнецы наконец распелись, и голоса их заливали все маленькое пространство клуба, как океанские волны.

– В нашей паранойе виноваты вы, Билли, – спокойно сказал он, ответив улыбкой на улыбку и приблизившись к уху собеседника, – заявления вашего президента об «империи зла», программа «Звездные войны». Это все больше похоже на сцены из кровавого голливудского боевика, чем на политику. Но нельзя, невозможно смешивать реальность с кинематографическими фантазиями. Вы сотрясаете «першингами» и крылатыми ракетами. Вы постоянно вопите о советской ядерной угрозе и делаете из России пугало, напичканное ядерными боеголовками, а между тем сами давно стали таким пугалом, и достаточно искры, чтобы все взлетело на воздух к чертовой матери. В третьей мировой войне победителей не будет.

– Ого, Эндрю, ты рассуждаешь как пацифист, – покачал головой Макмерфи, чуть отстранившись.

– Да, Билл, я параноик, я пацифист, я апельсиновый жмых и дырка от бублика. Но я должен тебя предупредить, что испытания нашей твердотопливной ракеты СС-Икс-24, которых

вы так ждете, вряд ли состоится. Во всяком случае, ночью тридцать первого августа ракету с космодрома в Плесеце не запустят.

– Погоди, это твое предположение? Или есть конкретные факты? – тихо спросил Макмерфи, моментально стряхивая снисходительную улыбку.

– Предполагать я ничего не могу, Билли. Я просто размышляю. Если хочешь, фантазирую. А факт всего один. Время и место испытаний – «топ-сикрет», причем не наш, а ГРУ. Откуда знаю я? Откуда знаешь ты? И главное, зачем мы это знаем? Зачем к нам в посольство неделю назад пришла сверхсекретная стратегическая информация, не имеющая к нам прямого отношения? Вероятно, для того, чтобы она быстрее просочилась в ЦРУ и в Пентагон. Это уже произошло и вызвало небывалое оживление, верно?

– Допустим, – мрачно кивнул Макмерфи, – что дальше?

– Дальше ваши ВВС наверняка используют для наблюдений новейшие модели самолетов-перехватчиков. Чудо вашей воздушной техники закружит над Тихим океаном, над Камчаткой, над полигоном в Кучах, чтобы проследить за ракетой и определить характер боеголовки. Эфир в этом регионе перегружен. Там японцы, корейцы, Китай, спутники, подлодки, радары. Вдруг какой-нибудь ваш летчик собьется с курса и окажется над нашей территорией? Всякое бывает. А не бывает, так может случиться. Вот тут-то мы ваш чудо-перехватчик и хлопнем. Нам ведь интересно разобрать его на винтики и посмотреть, как он устроен. Это ловушка, Билли. А сегодня, между прочим, двадцать девятое августа. Времени совсем не осталось.

Билли молчал минут пять, не меньше. Григорьев смял в кулаке пустую пачку и распечатал новую. Запах дыма слегка заглушил вонь советской тюрьмы, которая опять защекотала ноздри и горло.

– Сестры Моул сегодня в ударе, – заметил Макмерфи, намолчавшись вдоволь, – ты знаешь, что на самом деле они братья?

– Трансвеститы?

– Нет. Транссексуалы.

– Никогда не мог понять точной разницы, – виновато признался Григорьев.

– Ничего сложного. Сейчас объясню...

О ракетах и самолетах больше не было сказано ни слова.

...На следующее утро, переступив порог кабинета резидента, Андрей Евгеньевич мысленно согласился с Макмерфи насчет паранойи. Резидент был настроен вполне доброжелательно. В Москву его отправлять не собирались и вызвали для решения какого-то совершенно безобидного вопроса. Он почти поверил собственной утешительной версии о том, что вчерашняя слежка связана с рутинной проверкой всех и каждого. Умер Брежнев, к власти пришел Андропов, он перетряхивал кадры. Обстановка в посольстве обострилась, бдительность коллег возросла в десять раз. Поэтому пустили «хвост». Просто так. На всякий случай.

В ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 года для наблюдения за испытаниями твердотопливной советской ракеты с ядерной боеголовкой СС-Икс-24 Соединенные Штаты подняли в воздух один из своих новых самолетов-перехватчиков, базировавшихся на Аляске и получивших название «Клубок кобры».

Однако испытания не состоялись. Советскую ракету так и не запустили. Во время полета путь «Клубка кобры» пересекся с рейсом пассажирского авиалайнера, летевшего из Анкориджа в Сеул. В эфире произошла странная путаница. Поднятые по тревоге советские истребители сбили южнокорейский «Боинг-747», который каким-то таинственным образом оказался именно в той точке воздушного пространства, где по всем стратегическим расчетам полагалось быть «Клубку кобры».

Наши истребители сбили пассажирский самолет. Американцы его подставили вместо своей драгоценной «Кобры». И теми и другими двигали высокие патриотические чувства.

На борту «Боинга» находилось 240 пассажиров и 29 членов экипажа. Все погибли.

## Глава одиннадцатая

Арсеньеву стало казаться, что день этот никогда не кончится. После морга он надеялся попасть наконец домой, но не тут-то было. Объединенная группа во главе с майором ФСБ Птичкиным отправилась назад, в квартиру Кравцовой, для проведения повторного, более тщательного обыска. По дороге остановились возле уличной закусочной. Самый младший чин, лейтенант ФСБ, побежал покупать еду, вернулся с гигантскими курами-гриль и бутылками «спрайта». Арсеньев едва успел обглодать куриное крылышко, как в кармане у него заверещал мобильный.

– Привет, Юрич. Закусываешь? Приятного аппетита, – услышал он сиплый голос Геры Масюнина, – но, между прочим, когда не спишь, лучше голодать. С набитым брюхом тянет ко сну, а голод бодрит. Это я тебе как доктор говорю, хоть и покойницкий, но доктор. Слушай, я чего звоню-то. Я тут кое-что вспомнил про пульки. Точно такие пульки, вернее, то, что от них осталось, я месяц назад выковыривал из тела одного твоего хорошего знакомого, честного каторжанина по кличке Кулек. Если ты помнишь, это были эксклюзивные патроны. Таких в нашей стране еще никто не видел. Прими мои искренние соболезнования. Еще раз приятного аппетита. – В трубке послышался противный смешок, затем короткие гудки.

В машине повисло молчание. Все жевали и смотрели на Арсеньева. Он застыл с телефоном в одной руке, с куриным крылышком в другой.

«Честный каторжанин по кличке Кулек», он же Куликовский Иван Михайлович, 1963 года рождения, русский, дважды судимый мытищинский хулиган, полтора года назад был освобожден досрочно за хорошее поведение. Поселился в коммуналке в центре Москвы, в комнате своей одинокой тетки, регентши церковного хора, торговал иконками, крестиками и прочей церковной утварью у метро «Пушкинская», никого не трогал, каждое воскресенье ходил к причастию в храм Большого Вознесения у Никитских ворот. Месяц назад он был обнаружен с тремя смертельными пулевыми ранениями в подъезде своего дома.

На место преступления выезжала группа во главе с майором Арсеньевым. Убийцу удалось задержать очень быстро. Им оказался приятель Кулька, безработный наркоман по кличке Ворона. Он сразу во всем признался, рассказал, что задолжал Кульку двести долларов, отдать никак не мог. Ворона знал, что у любимой тетки Кулька нашли какую-то опухоль в животе и нужны деньги на операцию. Если бы Кулек вел себя нормально, как все люди, требовал вернуть свои двести баксов, упрекал, угрожал, наезжал, тогда другое дело. Но он, Кулек, вел себя как-то совсем неадекватно. О долге не вспоминал, рассуждал о прощении и смирении, нудно уговаривал лечиться от наркомании и, главное, смотрел Вороне в глаза, так смотрел, что все внутри переворачивалось, кипело и булькало. Когда душевные мучения Вороны стали невыносимы, он подстерег Кулька в подъезде поздно вечером, попытался поговорить, выяснить отношения, но Кулек в очередной раз завел душевительную беседу, Ворона по-хорошему попросил его заткнуться, и Кулек заткнулся, но по-плохому, то есть так посмотрел в глаза, что нервы у Вороны не выдержали. Он выхватил из кармана пистолет, трижды пальнул приятелю в живот и убежал, всхлипывая от ужаса.

Характер ранений был таков, что у Куликовского имелись неплохие шансы выжить. Он был в сознании, когда приехала «скорая», он успел сообщить милиции имя, адрес и приметы своего убийцы. Умер в реанимации, через двадцать четыре часа. Ему сильно не повезло. Извлечь пули оказалось невозможно, хотя ранения не были сквозными. На месте преступления обнаружили три стреляные гильзы от патронов калибра 9 × 17 мм, иностранного производства. А пуль в теле не нашли. Рентген высветил множество мельчайших металлических дробинок. Удалить их было невозможно. Куликовский умер от перитонита.

Вскрытие производил Гера Масюнин. Он умудрился извлечь из ран несколько крошечных дробинок и заявил, что это новый вид патронов, которые совсем недавно стала выпускать американская фирма «Магсейф». Пуля массой 3,4 грамма содержит сотню залитых тефлоном дробинок. При попадании в цель корпус пули разрушается и наносит обширные повреждения.

Из всех разновидностей отечественного оружия такие патроны подходят только к трем новейшим экспортным моделям пистолета Макарова, «ИЖ-71», «ИЖ-75», «ИЖ-77» производства Ижевского завода. «ИЖ-71» – распространенная и дешевая модель, ею пользуются многие, в том числе сотрудники МВД. «ИЖ-75» – более новая, облегченная, стоит дороже. «ИЖ-77» – самая последняя разработка, редкая и дорогая. Баллистики подтвердили Герину гипотезу. На дне гильз имелась маркировка фирмы-производителя: «Магсейф», калибр и шифр химического вещества, которым заряжен патрон.

Между тем убийца переживал острейшую абстиненцию в КПЗ, на вопросы отвечал все невнятной. Самый главный вопрос о пистолете так и остался без ответа. При задержании и обыске ни оружия, ни боеприпасов к нему у Вороны не нашли. Когда его спросили, откуда у него пистолет, он ответил просто: нашел. Где? Не помню. Как выглядел пистолет? Какой он был марки, фирмы, зарядности, калибра и т. д.? Красивый, небольшой, черненький, матовый. Написано «ИЖ-77» и еще какие-то буквы и значки. Был ли заряжен? Был, раз выстрелил. Держал ли Ворона в руках оружие когда-нибудь раньше? Ну как сказать? Вроде, да. В армии не служил, есть белый билет. В школе, в десятом классе на НВП разбирал и собирал автомат Калашникова. А с пистолетами вообще не умеет обращаться. Как же в таком случае справился с предохранителем? Не знаю! Справился, раз убил. Куда дел оружие потом? Потерял! Где? Не помню!

Во время следственного эксперимента Ворона вполне добросовестно изобразил все, от начала до конца: разговор, выстрелы, как Кулек упал, как он, Ворона, побежал прочь с протяжным матерным криком. Нашлось трое свидетелей, которые подтвердили, что в правой руке он держал нечто, похожее на пистолет. Куда именно побежал? Не помню. Сначала просто носился по переулкам и дворам, по дороге пару раз вырвало, потом, неизвестно как, очутился в какой-то незнакомой квартире, там помылся в душе, вмазался ЛСД, отрубился, очнулся, еще раз вмазался, поспал, пошел домой, там уже была милиция.

Чуть позже удалось найти эту гостеприимную квартиру с душем и ЛСД. Она оказалась наркопритоном. Произвели тщательный обыск, допросили всех, кто мог говорить. Пистолета не нашли. Ворона не вынес мук совести и абстиненции, нарочно спровоцировал драку с самым безумным из соседей по камере и подставил собственное горло под маленькую, острую, как бритва, «фомку».

Майор Арсеньев почти забыл эту историю, но сохранился неприятный осадок из-за пистолета. Понятно, что по Москве гуляет бессчетное количество «стволов», купить оружие любой фирмы, любого калибра не проблема. Были бы деньги и желание. Но исчезнувший «ИЖ-77» может попасть в чьи-то шальные руки бесплатно. В магазине осталось пять патронов. И захочется выстрелить. Арсеньев не сомневался, что именно так произошло с Вороной. Не мог он купить оружие, он и не собирался его покупать. Значит, оно попало к нему случайно и неожиданно. А не попало бы, Кулек бы жил. Вот так. Кто следующий? Впрочем, теперь, кажется, ясно кто. Или нет?

– Ну и рожа у тебя, майор! Смотри, не подавись курицей! – донесся до него насмешливый голос Птичкина. – Кто звонил? Кто тебе так аппетит испортил?

Саня молча пожал плечами, показывая, что ничего особенного не произошло, догрыз крылышко, вытер лицо и руки влажной одеколонной салфеткой, которые всегда носил с собой, глотнул «спрайта», закурил.

У дома Кравцовой дежурила съемочная группа криминальных новостей и торчало несколько журналистов. Их всех свалили на лейтенанта. Он, как попка, повторял одно и то же: «Без комментариев... не могу сказать ничего конкретного... в интересах следствия...»

В квартире было полно народу. Приехали прокурор и следователь, в углу гостиной на диване застыли, как изваяния, понятия, надутая от важности и смущения молодая пара из соседней квартиры. Уже начали работать трассологи. Вместо районного следователя приехал городской «важняк», пожилая полная дама Лиховцева Зинаида Ивановна. Судя по крепкому бронзовому загару и пышной парикмахерской укладке, она уже успела побывать в отпуске, и настроение у нее было самое благодушное. Арсеньев знал ее еще по университету. Она читала на юрфаке спецкурс «Тактика следственных действий», всегда узнавала своих бывших студентов, помнила, кто как сдавал зачеты и даже как вел себя на лекциях.

– А, Шура! Дай-ка на тебя посмотрю. Ты у нас уже майор? Молодец. Выглядишь неважно. Не спал, что ли?

– Да, Зинаида Ивановна, не спал. – Арсеньев прикусил язык, он чуть не назвал ее Зюзя. Эту кличку придумали ей студенты, и она прилепилась намертво. Лиховцева слегка картавила, некоторые согласные произносила с присвистом. Впрочем, если бы он и оговорился, она бы не обиделась. Зюзя была умная и не злая. Арсеньев обрадовался, что работать предстоит именно с ней. Она тут же попросила его заняться самым нехлопотным делом – просмотром видеокассет. Птичкин заявил, что желает в этом участвовать.

Кассет в квартире оказалось сравнительно немного. Штук семьдесят с фильмами, в основном классика американская, французская, итальянская, набор мировых бестселлеров последних пяти лет, старое советское кино – «Бриллиантовая рука», «Неуловимые», «Белое солнце пустыни», «С легким паром!». Десяток коробок с записью телепередач с Рязанцевым в главных и второстепенных ролях и еще полдюжины с любительской съемкой. Они стояли отдельно. Камера запечатлела сцены счастливого отдыха Рязанцева и Кравцовой на европейских курортах. Горные лыжи, море, пляжи, рестораны.

– Ну вот, я надеялся, будет порнушка, – разочарованно вздохнул Птичкин, – оказывается, ничего интересного. Смотри-ка, немцы в бассейне все голые, мужики и бабы. Вот это я понимаю, демократия. Только наши прикрывают срам. Совки, они всегда совки, даже с деньгами в свободном мире. Кравцова, вон и лифчик не сняла. Все-таки дикий мы народ.

Арсеньев ничего не ответил. Он упорно боролся со сном, зевота сводила челюсти. Покойнический доктор Гера Масюнин был прав. Не стоило набивать себе желудок курицей. Когда нельзя поспать, лучше не есть.

На кассетах, кроме курортного отдыха шикарной парочки, были засняты какие-то веселые застолья, вечеринки, шашлыки и барбекю в загородных ресторанах и на дачах. Мелькали незнакомые и знакомые лица: Вика Кравцова, Рязанцев, Бриттен, тележурналисты, актеры, политики, бизнесмены. Птичкин увлеченно тыкал пальцем, нажимал паузу, выкрикивал имена и радовался, как ребенок. Арсеньев подумал, что, если бы он чаще смотрел телевизор, узнал бы каждого второго.

Изредка в кадр попадала Лисова Светлана Анатольевна, то с подносом, то со стопкой грязных тарелок, красная, лохматая, в фартуке с петухами, она мелькала мимо объектива, и если замечала его, то сердито отворачивалась.

Арсеньев смотрел краем глаза, прислушивался к тому, что происходило вокруг. До него долетали короткие замечания трассологов и следователя, из которых он узнал, что денег в доме не обнаружено, только мелочь, закатившаяся за тумбу в прихожей. Трудно представить, что у Кравцовой не имелось никаких «зачечек», ни долларов, ни рублей. Значит, убийца все-таки взял деньги, правда, неизвестно сколько.

На туалетном столике в шкатулке остались драгоценности. Бриллианты, изумруды, сапфиры, золото. Стало быть, на них убийца не позарился. Из этого много всего интересного можно заключить о его личности, но у Арсеньева не осталось сил думать.

В бумагах и в компьютере покойной никакой существенной информации при первоначальном беглом просмотре не обнаружили. Дневников она не вела, личных писем не получала, а если и получала, то не хранила. Имелись ежедневники с лаконичным перечнем дел, звонков, встреч. Все это, безусловно, требовало более тщательной обработки, но, по мнению следователя, значительных открытий не сулило.

В компьютере содержались в основном тексты статей о Рязанцеве, его партии и его думской фракции, интервью с Рязанцевым, переданные по электронной почте и сохраненные на жестком диске.

Птичкин заскучал, отправился на кухню курить, Арсеньев, зевая, продолжал наблюдать очередную вечеринку. В гостиной появилась Зюзя с небольшой пачкой записных книжек и ежедневников и плюхнула все это Арсеньеву на колени.

– Вот тебе подарочек, Шура, чтобы жизнь не казалась медом. Ознакомься на досуге, может, чего нароешь.

– Хорошо, Зинаида Ивановна, – кивнул Арсеньев, не отрываясь от экрана.

Там была в самом разгаре вечеринка в загородном доме. Кравцова весело болтала с Бриттеном по-английски. Они сидели на диване у камина. Оба смеялись. Рука Бриттена как бы ненароком поглаживала голое колено Вики. Камера задержалась на этой руке, потом скользнула по комнате и уперлась в Рязанцева. Он сидел один, на ковре, прислонившись спиной к бревенчатой стене, и на лице его читалась такая тоска, что Арсеньев нажал паузу. Ему захотелось взглянуть внимательней.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.